



Коллеги Шерлока Холмса

Мировой успех

Фэндом



**Злые боги
Нью-Йорка**

В П Е Р В Ы Е Н А Р У С С К О М Я З Ы К Е

Annotation

В середине XIX века на грязных улицах Нью-Йорка, изрядную часть которого составляли трущобы, шла постоянная война – местных жителей против ирландских иммигрантов, протестантов против католиков, бандитов и воров против всех остальных. Как раз в это сложное время мэр города принял решение о создании полиции Нью-Йорка – из числа крепких и решительных мужчин разных национальностей и вероисповеданий, готовых любой ценой охранять закон. Одним из них стал Тимоти Уайлд, бывший бармен, прекрасно знающий местный уголовный мир и его правила. И тут же ему поручили очень сложное дело. В городе начал действовать маньяк, режущий малолетних ирландцев. В округе стали поговаривать, что в городе объявился сам дьявол...

Линдси Фэй

Злые боги Нью-Йорка

Моей семье, которая научила меня, что когда тебя здорово выбили из колеи, ты поднимаешься и идешь дальше – или поднимаешься и слегка меняешь направление.

* * *

Летом 1845 года, после нескольких лет страстных политических дискуссий, город Нью-Йорк наконец создал полицейское управление.

Картофель, сельскохозяйственная культура, которая позволяет прокормиться с небольших наделов на неплодородных землях, уже давно стал главным продуктом ирландских арендаторов. Весной 1844 года «Сельскохозяйственный и садоводческий вестник» с тревогой сообщил, что заражение «какой-то плесенью» погубило посевы картофеля.

Неизвестны, как сообщила «Кроникл» своим читателям, ни причина заражения, ни способы борьбы с ним.

Эти два события навсегда изменили Нью-Йорк.

У бандитского братства есть свой язык, который понятен каждому из них, независимо от родного наречия или взрастившего их народа. Многие из этих слов и выражений, сохранив свой смысл, вошли во всеобщее употребление, поэтому для широкого круга читателей, особенно для тех, кто интересуется полицейскими сводками, стал необходим *Vocabulum*, или «Бандитский лексикон».

Джордж Вашингтон Мэтселл,

председатель Полицейского суда,

Начальник полиции Нью-Йорка, 1859

Избранные слова и выражения брызгального наречия^Ц

Аид – еврей

Аутем – (от лат. *autem*) церковь

Башка – голова; пустоголовый, легкомысленный человек

Бене – (от итал. *bene*) хороший, отличный

Бережно – осторожно

Божья коровка – содержанка

Болтовня – разговор

Браток – мужчина

Вонять – бояться; испугаться

Вставить, вставиться – присоединиться. «Я вставлюсь в это дело вместе с ним»

Грязнуха – неряшливая женщина

Деревня – сельский житель; простофиля

Дерзкий – вспыльчивый; сварливый

Дернутый загон – сумасшедший дом

Джек Денди – нахальный парень

Жирно – дорого, богато

Заткнуть – душить; задыхаться

Звездочки – проститутки

Звенелки – деньги

Кемарить – молчать

Клёвый – симпатичный; привлекательный

Красная тряпка – язык

Кролик – буйн

Курица – женщина

Логово – дом

Лопотать – говорить на неизвестном языке

Лукавить – бить

Мертвый кролик – сильный и буйный мужчина, буйн

Молли – девушка; женоподобный парень; содомит

Мышить – вести себя тихо; не шуметь

Мэб – шлюха

Мякий – буйный; веселый; общительный

Нажратый – больной

Нед – золотая монета в десять долларов

Нишкнуть – молчать; вести себя тихо

Нора – дом

Ночная бабочка – проститутка, которая работает на улицах только по ночам

Нюхач – полицейский осведомитель

Орган – трубка

Перчиться, с перчиком – теплый; страстный, горячий, горячиться

Петелька – вздор, чепуха

Пискун – ребенок

Подавить, подави – убить; «... и точка!»; хватит

Посвященный – тот, кто знает

Птенчик – ребенок

Пухлый, пухло – богатый; много денег

Пыльный – опасный

Пытливый – подозрительный

Разбавить – ошеломить; одурманить

Рубить – тошнить, блевать

Ручкаться – пожать руку

Рычать – дерзить; пугать; блефовать

Сан – (от *франц. sans*) без чего-либо; ничего

Сладкий – пьяный

Сломать бабку – озадачить, запутать

Смазанный – выпоротый

Совы – женщины, которые выходят на улицу только ночью

Сок – выпивка

Спокойный – убитый

Стейт – город Нью-Йорк

Стопарик – пьяница

Талант – непривередливый; свободомыслящий, умный человек

Туша – тело

Успокоить – убить

Физия – лицо

Французские сливки – бренди

Черепушка – лицо

Чиркало – мошенник, который обманывает сельских жителей при помощи меченых карт или костей

Чиркануть – запомнить

Чмокать – клясться на Библии. «Мирошка приказал мне чмокнуть телячью кожу»
(Мировой судья приказал мне поклясться на Библии)

Шмотки – одежда

Шумный – растерянный; озадаченный; сбитый с толку

Щекотать – доставить удовольствие; забавлять

Эльфить – ходить неслышно; на цыпочках

Язва – ругань

Завет пилигрима

Мужья и жены, храбрецы, зачем они идут?
Зачем оставили они домашних уз уют?
То Небо вдохновило их, свободу духу дав,
Не для себя, для всех людей, оковы душ поправ.
Несут они сей славный дар на Запад с корабля:
«Церковь без епископа, страна без короля».

Ни принц и ни ханжа-прелат не в силах их согнуть,
Огонь горит у них в груди, свобода кажет путь.
И верят храбрые сердца, что лучше им не быть,
Чем покориться деспоту и о душе забыть.
И потому несут они на землю с корабля:
«Церковь без епископа, страна без короля».

*Гимн, исполненный на собрании в Нью-Йоркском Молитвенном доме в
1843 году*

Когда я принялся за первый отчет, сидя за столом в Гробницах^[2], то написал:

Вечером 21 августа 1845 года один из детей убежал.

Вряд ли вы поверите, что из всей мерзости, с которой ежедневно сталкивается нью-йоркский полицейский, сильнее всего я ненавижу бумажную работу. Но так оно и есть. Стоит мне задуматься о папках с делами, как по спине ползут змеи.

Полицейские отчеты предназначены для записей вроде «А убил Б из-за В». Но факты без мотивов, без истории – просто дорожные указатели со стершимися буквами. Бессмысленные, как чистое надгробие. И я не выношу сведение жизней к никчемной статистике. Досье вызывают у меня ту же тупую головную боль, какая бывает наутро после изрядной порции паршивого новоанглийского романа. В сухом строю фактов нет места причине, по которой люди совершают дикие поступки: любовь или отвращение, защита или жадность. Или Бог, в данном конкретном случае, хотя не думаю, что Бог этим очень доволен.

Если Он смотрит. Я смотрю, и мне это очень не нравится.

Взгляните, к примеру, что случится, если я попытаюсь описать одно событие из моего детства так, как обязан писать полицейские отчеты:

В октябре 1826 года в селении Гринвич-Виллидж загорелась конюшня, пристроенная к дому, в котором проживали Тимоти Уайлд, его старший брат Валентайн Уайлд и их родители, Генри и Сара. Хотя поначалу пожар был небольшим, в результате взрыва керосина огонь распространился на дом, и оба взрослых погибли.

Я – Тимоти Уайлд, и скажу вам сразу, это описание не говорит ничего. Ничего. Я всю жизнь рисовал картинки углем, чтобы занять руки, ослабить тугую жгут, стягивающий мне грудь. Один листок бумаги, на котором из выпотрошенного коттеджа торчат почерневшие кости, скажет вам намного больше.

Но теперь, когда я ношу полицейский значок, я постепенно привыкаю описывать преступления. Столько жертв в наших местных войнах во имя Господа! Я допускаю, что давным-давно было время, когда называть себя католиком означало наступить на протестантскую шею. Но прошедшие с тех пор сотни лет и широкий океан должны были похоронить эту вражду, если такое вообще возможно. Однако же вот я сижу и описываю кровопролитие. Все эти дети, и не только дети, но выросшие ирландцы и американцы, и прочие, кому не посчастливилось оказаться между ними. И мне остается верить, что мое сочинение станет подобающим мемориалом. Надеюсь, когда я потрачу достаточно чернил, резкий скрежет подробностей в голове немного притупится. Сухой древесный запах октября, пронизывающий ветер, задувающий в рукава сюртука, уже начнет стирать августовский кошмар, думал я.

Я ошибался. Но я ошибался и сильнее.

Вот как все началось. Теперь я лучше знаю ту девочку и могу писать, как человек, а не носитель медной звезды.

Вечером 21 августа 1845 года один из детей убежал.

Девочке было всего десять, шестьдесят два фунта, одета только в тонкую белую сорочку с широким воротничком, к которому аккуратно пришита кружевная лента. Темно-каштановые кудри девочки были стянуты в узел на макушке. Она стояла босиком на деревянном полу. Голые ноги и одно плечо, с которого сползла рубашка, чувствовали теплый

ветерок, задувавший через открытую створку окна. Девочка вдруг задумалась, нет ли в стене ее спальни глазка. Никто из мальчиков или девочек ни разу не находил их, но такая штука просто должна быть. В эту ночь каждый толчок воздуха ощущался кожей как вздох и превращал движения девочки в медленные, вялые толчки.

Она выбралась через окно своей комнаты, связав вместе три сташенных чулка и обмотав один конец вокруг нижней скобы на ставнях. Встав, отлепила ночную рубашку от тела. Ткань была влажной и липкой, от нее по коже бежали мурашки. Девочка, сжимая в руках чулок, вслепую шагнула из окна в густой и рваный августовский воздух, скользнула по импровизированной веревке и свалилась на пустую пивную бочку.

Девочка в ночной рубашке, цепляясь за тени, как за спасательный круг, свернула с Грин-стрит на Принс и, миновав ее, вышла к бурному потоку Бродвея. В десять вечера Бродвей мелькал, смазывался. Она смело встретила кричащий поток муарового шелка. Развязные мужчины в двойных бархатных жилетах топают в салоны, снизу доверху облаченные в зеркала. Подрядчики, политики, торговцы; кучка мальчишек-газетчиков, между розовых губ торчат незажженные сигары. Тысячи пар бдительных глаз. Тысячи опасностей. И, раз уж солнце село, вышедшее на все углы сестринство: белогрудые шляхи, страшно бледные ниже слоя румян. Они стояли кучками по пять-шесть, объединенные бордельным родством и тем, кто из них носит настоящие бриллианты, а кто – потрескавшиеся и пожелтевшие подделки.

Девочка сразу узнавала ночных бабочек даже в самых богатых и здоровых женщинах. Она знала, как отличить мэб от госпожи.

Она заметила просвет в потоке лошадей и повозок и метнулась из теней, как мотылек, желая стать невидимой, летя через широкую, оживленную улицу на восток. Босые ноги тонули в жидкой, деготной грязи, заливающей мостовую, и она едва не споткнулась об огрызок кукурузного початка.

Сердце толкнул страх. Она упадет, ее увидят, и тогда все будет кончено.

«Они убили остальных птенцов быстро или медленно?»

Но девочка не упала. Фонари повозки с десятками оконных стекол мелькнули за спиной, и она вновь полетела. Ее путь обозначили несколько женских ахов и один возглас тревоги.

Ее никто не преследовал. Но, по правде говоря, тут не было ничьей вины. Слишком большой город. Это просто равнодушные четырехсот тысяч человек, слитых в единый черно-синий омут безразличия. «Вот для чего нужны мы, «медные звезды», – подумал я. – Мы – те немногие, кто останавливается и смотрит».

Позже она рассказывала, что видела все отдельными грубыми картинками – сырое, двумерное, с краев кирпичных зданий стекает акварель. Я сам переживал такое состояние отстраненности. Она вспоминает крысу, грызущую кусок бычьего хвоста, а потом – ничего. Звезды в летнем небе. Свет конки на линии «Нью-Йорк и Гарлем», стучащей по железным рельсам, попоны двух уставших лошадей, мокрые и скользкие в газовом свете. Пассажир в цилиндре, безучастно глядящий в ту сторону, откуда они приехали, гоняет рукой по подоконнику свои часы. Дверной проем, выходящий на распилочную, как их называли; полузаконченные шкафы и разобранные стулья выплескиваются на улицу, такие же рассеянные, как и ее мысли.

Потом еще один кусок запекшейся тишины – и пустота. Девочка вновь бессознательно одернула рубашку, отлепляя заскорузлую ткань от тела.

Она свернула на Уокер-стрит, миновав группу франтов с завитыми и намыленными локонами, обрамляющими монокли, свежих и энергичных после мраморных бань у

Стоппани. Однако девочка не интересовала франтов: она, очевидно, неслась во весь опор в выгребную яму Шестого округа, а значит, принадлежала к нему.

В конце концов, она выглядела как ирландка. Она была ирландкой. Какой нормальный человек будет беспокоиться об ирландской девушке, спешащей домой?

Ну, например, я.

Меня бродячие дети занимали намного больше. Я был ближе к теме. Во-первых, я шагал в одиночестве, или около того. Во-вторых, полиции со звездами назначено повсюду хватать костлявых и грязных птенчиков. Сгонять их, как скот, паковать в запертый фургон и с грохотом везти по Бродвею в Приют. Беспризорники стоят в нашем обществе ниже джерсейских коров, хотя скотину пасти легче, чем бездомных людей. У пойманного ребенка взгляд не злой, а возбужденный, не яростный, а беспомощный. Мне знаком такой взгляд. И потому я никогда, ни при каких обстоятельствах не стану этим заниматься. Даже ради своей работы. Даже ради своей жизни. И даже жизни моего *брата*.

Хотя вечером двадцать первого августа я не размышлял о бродячих детях. Я переходил Элизабет-стрит, крепостью осанки мало отличаясь от мешка с песком. Полчаса назад я с отвращением взял свою медную звезду и швырнул ее в стену. Однако сейчас она лежала в моем кармане, больно врезаясь в пальцы вместе с ключом от дома, а я безмолвно проклинал своего брата. Мне намного легче злиться, чем переживать потерю.

«Будь проклят Валентайн Уайлд, – повторял я, – и будь проклята каждая светлая мысль в его проклятой голове».

И тут в меня слепо врезалась девочка, летящая, как обрывок бумаги на ветру.

Я поймал ее за руки. Ее сухие бегающие глаза даже в дымном свете луны сияли бледно-серым, как кусочек крыла горгульи, упавший с церкви. У девочки было незабываемое лицо, квадратное, как рамка, с темными опухшими губами и идеальным вздернутым носиком. На плече горсть веснушек. Для десяти лет роста маловато, хотя она вела себя так живо, что в памяти казалась выше, чем на самом деле.

Но когда я стоял тем вечером перед своим домом и она споткнулась о мои ноги, яснее всего я заметил одно – девочка была вся покрыта кровью.

Первого июня прибыло около семи тысяч эмигрантов... и правительственный служащий получил уведомление, что в нынешний сезон перевозку оплатили еще 55 тысяч, почти все – ирландцы. Как ожидается, общее число эмигрантов, прибывающих в Канаду и Штаты, достигнет 100 тысяч человек. Остальная Европа, вероятно, отправит в Штаты еще 75 тысяч.

«Нью-Йорк Геральд», лето 1845 года

Стать полицейским Шестого округа Нью-Йорка было для меня неприятной неожиданностью.

Не та работа, которой я думал заниматься в свои двадцать семь. С другой стороны, могу поклясться, что все полицейские скажут то же самое, поскольку еще три месяца назад такой работы вовсе не существовало. Мы только вылупились. Пожалуй, сперва мне стоит рассказать, с чего три месяца назад, летом 1845 года, мне пришлось искать работу. Правда, об этом здорово нелегко говорить. Эти воспоминания борются за право называться самыми скверными. Но я постараюсь.

Восемнадцатого июля я присматривал за баром в «Устричном погребке Ника», чем занимался с тех пор, как мне стукнуло семнадцать. Квадратный луч света, падавший из двери наверху лестницы, поджаривал грязь на дощатом полу. Мне нравится июль. Нравится, как его особая синева растекается на весь мир; мне двенадцать, я работаю на пароме до Стейтен-Айленда – голова запрокинута, рот полон соленого свежего ветра. Но в 1845-м лето было паршивым. Влажный воздух отдавал дрожжами, как хлебная печь к одиннадцати утра, и этот привкус все время лез в рот. Я старался не замечать смесь запахов горячего пота и сдохшей упряжной лошади, которую запихали в переулок за углом. Казалось, лошадь постепенно становится все дохлее и дохлее. Считается, что в Нью-Йорке есть мусорщики, но это миф. Рядом лежал развернутый номер «Геральд», по неизменной утренней привычке уже прочитанный мной от корки до корки. Газета самодовольно объявляла, что ртуть подскочила до девяноста шести^[3], и еще несколько рабочих, к несчастью, скончались от теплового удара. Все это упорно разрушало мои представления об июле. Правда, я не мог позволить себе скинуть. Не тот сегодня день.

Я не сомневался, что мой бар собирается навестить Мерси^[4] Андерхилл. Она не появлялась уже четыре дня, рекордный срок, и мне нужно было поговорить с ней. По крайней мере, попробовать. Недавно я решил, что мое благоговение перед ней больше не должно препятствовать нашему разговору.

«Погребок Ника» был распланирован в обычной для таких заведений манере, и мне нравилась его безупречная типичность. Очень длинная стойка бара, достаточно широкая для оловянных тарелок с устрицами, десятков пивных стаканов и рюмок для виски и джина. Темно как в пещере, благо заведение наполовину под землей. Но по утрам вроде сегодняшнего солнце замечательно пробивалось внутрь, и мы даже не зажигали масляные лампы в желтых бумажных абажурах, которые оставляли весьма симпатичные следы копоти на штукатурке. Никакой мебели, только ряд кабинок с голыми скамьями вдоль стен; при

желании их можно занавесить, но никто этим не пользовался. В «Погребке Ника» не секретничали. Здесь отчаянные молодые «быки» и «медведи»^[5] перекрикивались через весь зал, отбив двенадцатичасовой срок на Бирже, а я их слушал.

Я стоял, набирая галлон виски для незнакомого рыжего мальчугана. Берега Ист-Ривер кишели трясущимися нездешними созданиями, которые пытались избавиться от своей привычки к морской качке, а «Погребок Ника» располагался на Нью-стрит, совсем близко к воде. Парнишка ждал, наклонив голову и вцепившись ручонками в кедровую доску стойки. Он здорово напоминал воробья. Слишком рослый для восьми лет, слишком напуганный для десяти. Кожа да кости, глаза стеклянно выискивают бесплатные обеды.

– Это для твоих родителей?

Я вытер пальцы о передник и заткнул глиняный кувшин.

– Для папки, – пожал плечами мальчишка.

– Двадцать восемь центов.

Он вытянул из кармана ладошку с кучкой монет.

– Два шиллинга дают две восьмушки, так что я беру эту пару. Заходи еще. Меня зовут Тимоти Уайлд. Я наливаю по-честному и не разбавляю товар.

– Благодарствую, – сказал он, протягивая руку к кувшину.

Судя по темным пятнам патоки, которые я заметил под мышками его оборванной рубашки, он лазал в бочку за остатками. Так, значит, мой последний покупатель – сахарный вор. Интересно.

Хороший я буду бармен, если не смогу отличить портовую крысу из Слайго, занятую контрабандой патоки, от сына члена городского совета, пусть даже они приходят за одной и той же выпивкой. Бармену с острым глазом платят заметно больше, а я сберегал всю монету, которую удавалось прибрать к рукам. Для кое-чего слишком значимого, чтобы называться просто важным.

– На твоём месте я бы сменил ремесло.

Черные и блестящие воробьиные глазки прищурились.

– Патока, – пояснил я. – Местные не любят, когда торгуют чужим товаром.

Локоть мальчишки заерзал и начал дергаться.

– Похоже, ты ходишь с ковшом и лазишь на рынке в бочки, когда хозяева рассчитываются с покупателем. Ладно, бросай это дело, лучше поговори с продавцами газет. Они тоже неплохо зарабатывают. К тому же продавцы патоки не ловят газетчиков и не бьют, когда запомнят их хитрые мордашки.

Мальчишка резко кивнул и убежал, прижимая крылом потеющий кувшин. Я почувствовал себя очень мудрым, и в придачу еще и дружелюбным.

– Без толку наставлять этих тварей, – заметил Хопстилл с другого конца стойки, потягивая свою утреннюю порцию джина. – Лучше бы он потонул в океане.

Хопстилл по рождению лондонец и не слишком уважает республиканцев. Лицо у него лошадиное и унылое, щеки желтоватые. Это от серы для фейерверков. Он занимается всякими эффектами, сидит себе на чердаке и делает красивые взрывы на спектаклях в «Ниблос Гарден»^[6]. На детей Хопстилла плевать. А мне они симпатичны, нравится мне их искренность. На ирландцев Хопстилла тоже плевать. Правда, такое отношение – не редкость. На мой вкус, нечестно обвинять ирландцев за то, что они охотно соглашаются на самую убогую и грязную работу, если иной им не предлагают. Но справедливость не занимает высоких мест в перечне приоритетов нашего города. Да и потом, убогую и грязную работу в

наши дни найти непросто, по большей части она уже расхватаана их же сородичами.

– Ты читал «Геральд», – сказал я, стараясь не злиться. – Сорок тысяч эмигрантов с января, и ты хочешь, чтобы все они стали карманниками? Здравый смысл подсказывает дать им пару советов. Я сам предпочту работать, а не воровать, но скорее начну воровать, чем голодать.

– Дурацкое занятие, – глумился Хопстилл, приминая ладонью пучки серой соломы, которые у него сходили за волосы. – Ты читал «Геральд». Этот вонючий клочок земли на волоске от гражданской войны. А сейчас в Лондоне говорят, что их картошка начала гнить. Ты это слышал? Берет и гниет, как от чумы египетской. И ничего удивительного. Я уж точно не стану ручкаться с народом, который навлек на себя Гнев Божий.

Я моргнул. С другой стороны, меня часто поражают глубокомысленные высказывания посетителей о католиках, а единственные известные им живые примеры – разнообразные ирландцы. Посетителей, которые в ином отношении – да во всех отношениях – абсолютно разумны. «Первым делом священники насилуют молодых монашек, и тот священник, который хорошо справляется с делом, идет наверх, такая у них система – до первого изнасилования они даже рукоположения не получают. Знаешь, Тим, я думал, ты кумекаешь, папа же только за счет вырезанных младенцев и живет, это все знают. Я сказал, к дьяволу, даже не думай пускать ирландцев в свободную комнату; будут они там вызывать всяких демонов в своих ритуалах, что тут хорошего, когда в доме малютка Джем? И вообще папство – это растление христианства, и возглавляет его сам Антихрист, а его отпрыски задавят Второе пришествие, как жука». Я не трудился отвечать на эти бредни по двум причинам: идиоты держатся за свое мнение, как новообращенные, а от всей этой темы у меня начинают ныть плечи. В любом случае, я вряд ли могу кого-то переубедить. Американцы испытывают такие чувства к иностранцам со времен «Законов о чужаках и бунтах» 1798 года.

Хопстилл счел мое молчание за согласие. Он кивнул и отхлебнул джина.

– Стоит этим попрошайкам приплыть сюда, и они начинают тянуть все, что не прибито гвоздями. Без толку им говорить.

Само собой разумеется, они приплывут. Я часто прогуливаюсь вдоль доков, окаймляющих Саут-стрит всего в паре кварталов от моего пути домой из «Погребка Ника», и они гордятся судами, жирными, как мыши, в которых пассажиров больше, чем блох на собаке. Эмигранты приплывали все годы – даже во время Паники^[7], когда я видел, как голодают люди. Сейчас снова появилась работа, нужно прокладывать железные дороги, строить склады. Но, жалеете вы эмигрантов или желаете им потонуть, все граждане сходятся в одном: этих эмигрантов чертовски много. Большинство из них ирландцы, а все они католики. И почти все соглашались со следующей мыслью, которая приходит на ум: у нас нет ни средств, ни желания прокормить их. Если все пойдет еще хуже, отцам города придется открыть кошельки и наладить какой-то порядок встречи – какую-то систему, не позволяющую иностранцам скапливаться в прибрежных переулках, утаскивая крохи у карманников, пока они сами не научатся воровать кошельки. Неделю назад я проходил мимо судна, выблевывавшего семь или восемь десятков скелетов с Изумрудного острова; эти эмигранты остекленело смотрели на наш город, будто не верили в его существование.

– А как же благотворительность, а, Хопс? – заметил я.

– Благотворительность тут ни при чем, – нахмурился он и с глухим «пинг» поставил свою стопку на барную стойку. – Точнее, этот конкретный город не желает иметь ничего общего с благотворительностью, когда она есть пустая трата времени. Я скорее обучу

нравственности свинью, чем ирландца. И я хочу еще тарелку устриц.

Я крикнул Джулиусу, чернокожему парнишке, который мыл и вскрывал раковины, еще десяток с перцем. Хопстилл – угроза хорошему настроению. Я уже совсем было собрался сказать ему об этом. Но тут бьющее из дверей копьё света порвала темная тень, и в бар спустилась Мерси Андерхилл.

– Доброе утро, мистер Хопстилл, – нараспев произнесла она мягким голоском. – Мистер Уайлд.

Будь Мерси Андерхилл еще совершеннее, влюбиться в нее заняло бы день нелегкой работы. Но у нее хватало недостатков, чтобы это оказалась до смешного просто. Например, ямочка на подбородке, похожая на бороздку персика, и широко расставленные синие глаза, придающие ей при разговоре недоуменный вид. Однако в ее голове не было ничего недоуменного; еще одна черта, которую отдельные мужчины считали недостатком. Мерси – исключительная книжница, бледна, как гусиное перо, возвращена на текстах и диспутах преподобным Томасом Андерхиллом, и мужчины, замечавшие ее красоту, тратили чертову уйму времени, уговаривая ее оторваться от последнего тома, изданного «Харпер Бразерс».

Правда, мы старались, как могли.

– Мне нужно две пинты... две? Да, наверное, их должно хватить. Новоанглийского рома, пожалуйста, мистер Уайлд, – попросила она. – О чем вы разговаривали?

У нее не было посуды, только открытая плетеная корзинка с мукой, травами и листками с обычно торопливо набросанными полужаконченными стихами, и я достал с полки рифленый стеклянный кувшин.

– Хопстилл доказывал, что Нью-Йорку благотворительность свойственна примерно в той же степени, что и гробовщику в чумном городе.

– Ром, – кисло заметил Хопстилл. – Вроде как ни вы, ни преподобный не сохнете по рому.

Мерси поправила прядь своих гладких, но постоянно рассыпающихся черных волос, впитывая его замечание. Ее верхняя губа чуть выступает, и когда Мерси задумывается, это становится еще заметнее. Так было и сейчас.

– Мистер Уайлд, а вы знаете, – осведомилась она, – что *elixir proprietatis* – единственное лекарство, которое дает немедленное облегчение при угрозе дизентерии? Я растираю шафран с миррой и алоэ, смешиваю с новоанглийским ромом и настаиваю две недели на жарком солнце.

Мерси протянула мне несколько даймов^[8]. Приятно вновь видеть столько позвякивающих монеток. Во время Паники монеты полностью исчезли, сменившись расписками на обед в ресторане или кофейными билетами. Мужчина мог десять часов обтесывать гранит, а потом получить плату молоком и моллюсками с Джамайка-бич.

– Это, Хопс, отучит тебя допрашивать Андерхиллов, – заметил я через плечо.

– А разве мистер Хопстилл задал вопрос, мистер Уайлд? – задумчиво поинтересовалась Мерси.

Вот как она это делает, и будь я проклят, если мне не приходится всякий раз прикусывать язык. Дважды моргнула, потерянное ягнячье лицо, вроде бы невинное замечание, и ты уже подвешен за пальцы. Хопстилл мрачно засопел, понимая, что изгнан с континента. Девушкой, которой в июне стукнуло двадцать два. Не знаю, где она выучилась таким штучкам.

– Я донесу его до вашего угла, – предложил я, выбираясь из-за стойки с кувшином для

Мерси.

Непрерывно думая: «Ты действительно собрался это сделать?» Я был верным другом Мерси уже больше десяти лет. «Можно ведь и дальше так. Носить ее вещи, смотреть на завиток на шее, выяснять, что она читает, а потом читать то же самое».

– Зачем вам оставлять бар? – улыбнулась мне Мерси.

– Я захвачен духом приключений.

На Нью-стрит было полно народа. Над морем флотских сюртуков ослепительно блестели на солнце черные бобровые шапки. Улица длиной всего в пару кварталов, ограниченная с севера Уолл-стрит, огромными каменными фасадами с навесами, защищающими пешеходов от палящего солнца. Чистая коммерция. На каждом тенте – вывеска, к каждой вывеске и свободному куску стены прилеплены плакаты: «Цветные шейные платки. Десять за доллар», «Мыло Уиттинга гарантировано избавляет от стригущего лишая». Все людные улицы на острове, все без исключений, покрыты кричащими плакатами, под свежими объявлениями еще видны отслаивающиеся заголовки прошлогодних. Я заметил ухмылку моего брата Вала, ксилографированную и прикрепленную к двери, и поймал себя на том, что кривлюсь: «Валентайн Уайлд поддерживает создание полицейских сил Нью-Йорка».

Ну и хорошо. Хотя я, пожалуй, был бы против. Да, преступность у нас беспредельная, грабежей ждут, нападения повсеместны, а убийства часто остаются нераскрытыми. Но если допустить, что Вал поддерживает бурно обсуждаемую новую полицию, я бы поставил на беззаконие. Вплоть до предыдущего года, кроме недавно сформированной горстки мужчин, названных «полицией Харпера»^[9], чьи синие сюртуки просто призывали каждого пьянчугу отлупасить бедолаг, в этом городе не было такой штуки, как констебль. Само собой, в Нью-Йорке была Стража. Жалкое старичье, изголодавшееся по деньгам, целый день тянут ляжку, а потом спят всю ночь напролет в своих будках, под присмотром растущего поголовья преступников. По нашим улицам бродили четыреста с гаком тысяч душ, считая постоянную толпу гостей со всего шарика. И меньше пяти сотен сторожей, храпящих в стоячих гробах, пока их сны скачут в кожаных шлемах, как кегли. А уж про дневных стражей порядка лучше не спрашивайте. Их целых девять.

Но если мой брат Вал за что-то выступает, это как-то не особо похоже на хорошую идею.

– Я подумал, в такой толпе вам не помешает какой-нибудь верзила, – заметил я Мерси.

Наполовину шутка. Я крепкий, быстрый, но боксирую в легчайшем весе. В лучшем случае на дюйм выше Мерси. Однако Наполеон не позволял своему росту встать между ним и Рейном, а я проигрываю сражения не реже, чем он.

– А?.. А, понимаю. Да, очень любезно с вашей стороны.

На самом деле она не удивилась; я понял это по выражению глаз, голубых, как яйца дрозда, и решил действовать осмотрительно. С Мерси было непросто сориентироваться. Но я знал, что к чему в своем городе, и знал, что к чему с Мерси Андерхилл. Я родился в унылом коттедже в Гринвич-Виллидж, когда Нью-Йорк еще не коснулся его границ, и изучал причуды Мерси с тех пор, как ей исполнилось девять.

– Сегодняшним утром меня заинтересовал один вопрос.

Она помолчала, взгляд широко расставленных глаз скользнул по мне и вновь опустился.

– Наверное, это глупость. Вы будете смеяться.

– Если вы попросите, не буду.

– Знаете, мистер Уайлд, мне интересно, почему вы никогда не зовете меня по имени.

Летом в Нью-Йорке не бывает прохладного ветерка. Но когда мы свернули на Уолл, идя мимо банков, выстроившихся шеренгами греческих колонн, воздух стал приятнее. А может, так мне это запомнилось, но в нем вдруг остались только запахи пыли и горячего камня. Чистые, как пергамент. Такой запах стоит целого состояния.

– Не знаю, о чем вы, – ответил я.

– Ну, да. Простите, я не собиралась говорить загадками.

Нижняя губа Мерси спряталась за верхней, всего на долю теплого влажного дюйма, и в ту секунду я подумал, что тоже хотел бы ее попробовать.

– Вы могли просто сказать: «Не знаю, о чем вы, мисс Андерхилл». И тогда бы мы не стали больше об этом говорить.

– Почему вы так думаете?

Я заметил рваную дыру на тротуаре и, резко повернувшись, обвел Мерси вокруг дыры, только бледно-зеленые летние юбки зашуршали. Правда, может, она и сама увидела ямку, поскольку вовсе не встревожилась. Даже голову не повернула. Провожая Мерси до конца квартала, никогда не знаешь, обратит она на тебя внимание или нет; все зависит от настроения. Что и говорить, я точно не воскресенье. Какой уж из меня праздник. Я – все остальные, рабочие дни недели; мимо нас проходят и не замечают. Но я мог это исправить, или, по крайней мере, так думал.

– Мистер Уайлд, вы хотите заставить меня предположить, что вам нравится тема моего имени? – спросила она, стараясь сдержать смех.

Тут я ее подловил. Никто не отвечает вопросами на ее вопросы, равно как и она сама никогда не отвечает на вопросы. Еще один недостаток Мерси, который я заметил. Она дочь преподобного, ясное дело, но разговаривает умно, как нефрит, если у тебя хватает мозгов, чтобы это заметить.

– Знаете, что бы я хотел сделать? – в свою очередь спросил я, подумав, что уже обучился этой премудрости. – Мне удалось скопить немного денег, четыре сотни наличными. Я не таков, как маньяки, которые хватают каждый лишний доллар и бросаются играть против цен на китайский чай. Я хочу купить кусок земли, может, на Стейтен-Айленд, и заняться речными перевозками. Пароходы дороги, но если потратить толику времени, я отыщу подходящий.

Я помнил свои два года сиротства: худой, бледный, двенадцать лет. На чистом упрямстве протолкался на работу к добродушному и неуклюжему лодочнику-валлийцу; для нас с Валом это был один из самых голодных периодов, тогда мы протянули неделю на паданцах. Может, потому парень и нанял меня матросом, что это понял. Я вспомнил, как стоял на носу парома у поручней, которые полировал до ободранных пальцев, запрокинув голову, когда в пылающем солнечном свете взрывалась летняя гроза. Пять минут водяная пыль и дождевые капли плясали в ослепительном свете, и в эти пять минут меня не интересовало, не покончил ли с собой брат, оставшийся на Манхэттене. Волшебное ощущение. Как будто тебя стерли.

Рука Мерси, лежащая на моей, шевельнулась.

– В чем связь вашего рассказа с моим вопросом?

«Будь мужчиной и рискни», – подумал я.

– Может, я вовсе не хочу звать вас мисс Андерхилл, – ответил я. – Может, я бы хотел звать вас Мерси. Как бы вы предпочли называться?

В тот вечер в «Устричном погребке Ника» я был пробирным камнем, сияющим талисманом. Все бледные шулеры, все безумцы «фаро, шампанское, морфин и что у тебя еще есть», все чудачки, которые охотились на Бирже и заключали сделки, пожимая влажноватые ладони, в задних комнатах кофеен, – все они видели во мне судьбу и желали прикоснуться к ней. Выпивка от Тимоти Уайлда была не хуже похлопывания по спине от Астора.

– Еще три бутылки шампанского! – крикнул Инман, долговязый парень.

С обеих сторон его стискивали чернопиджачные локти. Иногда я задумывался, что заставляет финансистов, едва выйдя из зала Палаты маклеров, идти в другую душную пещеру.

– Налей себе стаканчик за мой счет, Тим, хлопок поднялся выше опиума!

Люди рассказывают мне разное. Все время. Они истекают сведениями, как распоротый мешок – сухими зернами. А с тех пор, как я занялся устричным погребком, стало еще хуже. Исключительно полезно, но временами здорово выматывает – как будто я наполовину бармен, а наполовину дыра в земле, выкопанная в ночи, чтобы похоронить пару тайн. Если бы Мерси удалось обзавестись такой же привычкой, это было бы просто здорово.

К девяти, когда солнце село, по моей спине текли струйки честного трудового пота. Потееющие по другим причинам мужчины требовали выпивки и устриц, как будто весь мир вращался вокруг них. Видимо, ничего не остается, кроме как истреблять угощение, пока мы все не прикончим. Я метался за десятерых, жонглируя заказами, отвечая на дружеские подначки и считая град монет.

– Тимоти, что за хорошие новости?

– У нас хватит холодного шампанского, чтобы отправить вплавь ковчег, – крикнул я в ответ Хопстилли, который вновь появился в баре.

За моей спиной возник Джулиус, он тащил ведро со свеженаколотым льдом.

– Следующий круг за счет заведения.

Насколько я мог судить, Мерси Андерхилл не сказала «нет» ни на одно из моих замечаний. Ни «вы неправильно представляете себе положение дел», ни «оставьте меня в покое». Мы расстались на углу Пайн и Уильямс-стрит; с востока поднимался ветерок, неся тяжелый запах гари от кофеен. К этому времени она успела высказать множество совершенно несвязанных мыслей.

Она сказала, к примеру: «Могу понять, почему вам, мистер Уайлд, не нравится моя фамилия. Меня сама она заставляет вспомнить о похоронах^[10]». Еще она сказала: «Ваши родители, упокой Господи их душу, имели счастье оставить вам фамилию лорда-канцлера Англии. Я бы с удовольствием пожила бы в Лондоне. В Лондоне, должно быть, летом прохладно, там в парках настоящая трава, и после дождя все ярко-зеленое. Так мне всегда говорила мать, когда нью-йоркское лето становилось слишком тяжелым». Обычная присказка Мерси, в любое время года – маленькая молитва ее покойной матери, Оливии Андерхилл, урожденной лондонке, которая была чудной, щедрой, одаренной воображением, привлекательной и удивительной, совсем как ее единственное дитя.

Мерси добавила: «Я закончила двадцатую главу своего романа. Захватывающее число, вам не кажется? Вы когда-нибудь думали, что я дойду до нее? Вы дадите мне честный отзыв, когда я закончу всю книгу?»

Если она стремилась обескуражить меня, то сделала неудачную ставку.

Может, по званию я не ученый и не священник, но преподобный Томас Андерхилл очень неплохо ко мне относится. Бармен – столп общества и ступица в колесе Нью-Йорка, и у меня четыре сотни долларов серебром, упрятанные под матрац кровати. Мерси Андерхилл, по-

моему, должна зваться Мерси Уайлд – а тогда я еще не знал, куда заведет мою жизнь совсем другой разговор.

– Дай мне пятьдесят долларов, Тим, и через две недели ты будешь богачом! – крикнул Инман из взбаламученного чана людских тел. – Телеграф Сэма Морзе сделает тебя королем!

– Бери свои волшебные монеты и отправляйся к дьяволу! – бодро ответил я и потянулся за тряпкой.

– Джулиус, ты когда-нибудь играешь на рынке?

– Я скорее сожгу деньги, чем стану играть на бирже, – не глядя ответил Джулиус, ловко выдергивая пробки из бутылок с шампанским своими широкими пальцами; разумный парнишка, быстрый и спокойный, в волосы вплетены листья душистого османтуса. – На огне можно греть суп. Думаешь, они знают, что Паника – их рук дело? Думаешь, они помнят?

Но я уже не слушал Джулиуса. Вместо этого я погрузился в мутную, как лауданум^[11], последнюю фразу, сказанную Мерси.

«Не думайте, что вы меня обидели. В конце концов, я не выхожу замуж за имя».

Думаю, это было единственное прямое высказывание, которое я когда-либо от нее слышал. По крайней мере, первое с тех пор, как ей исполнилось пятнадцать. И все же в нем было свое очарование. Пьянящая, приятная минута. Минута, которая открыла мне, что Мерси, говорящая прямо, ничуть не менее прекрасна, чем Мерси, выписывающая круги, как огненно-красный змей на ветру.

В четыре часа утра Джулиус поставил швабру в угол, и я протянул ему лишнюю пару долларов. Он кивнул. Эта ночь здорово вымотала нас. Мы направились к лестнице, ведущей в просыпающийся город.

– Ты когда-нибудь задумывался, на что это похоже, спать по ночам? – спросил я, запирая дверь.

– Когда стемнеет, меня в кровати не застанешь. Может, дьявол знает, а? – ответил Джулиус, подмигивая собственной шутке.

Мы вышли на улицу в ту самую минуту, когда рассвет вытянул свои красные пальцы над горизонтом. Или так подумал краешек моего глаза, пока я нахлобучивал на голову шляпу. Джулиус сообразил быстрее.

– Пожар! – заревел он низким голосом, приложив ладони к резко очерченным губам. – Пожар на Нью-стрит!

Целую минуту я стоял, замерев в темноте, с багровыми отсветами над головой, и толку от меня было примерно столько же, как от инспектора сломанных газовых ламп. И та же тошнота, которую всегда вызывало у меня слово «пожар».

Взрыв слышали во Флашинге, где его приняли за толчок при землетрясении. Зола падала на Стейтен-Айленд и на несколько миль в глубь Нью-Джерси. В полдень дым закрывал солнце.

«Нью-Йорк Геральд», июль 1845 года

Третий этаж магазина напротив выглядел так, будто в нем упрятали янтарное солнце. Яростные желтые языки пожирали фасадные окна, огонь уже сделал заявку на обширное внутреннее помещение, должно быть, склад. Пожары в этой части города такие же привычные, как беспорядки, и такие же опасные, но этот бушевал у всех на виду, и никто до сих пор не поднял тревогу. Что бы там ни случилось, огонь полыхнул жутко быстро – может, забыли лампу рядом с тюком ваты или бросили окурки сигары в мусорное ведро. Какая-нибудь маленькая, дурацкая, роковая оплошность. Склад напротив «Погребка Ника» был огромным, он занимал большую часть маленького квартала, и у меня во второй раз екнуло сердце: до меня дошло, что если пламя такое яркое, огонь уже охватил весь этаж и сейчас бушует у стен соседних домов.

Секунду спустя мы с Джулиусом помчались к пламени. Когда вы видите в Нью-Йорке еще никем не замеченный пожар, вы бежите к нему, а не от него, и предлагаете свою помощь, пока на место происшествия не придут добровольные пожарные дружины. Люди сгорают заживо, если некому протянуть им руку. Я оглянулся, страстно желая услышать звон пожарного колокола, хотя терпеть не мог этот звук.

– Почему его до сих пор никто не заметил? – выдохнул я.

– Бессмыслица какая-то, – ответил Джулиус.

Он приостановился, вновь крикнул «Пожар!» и помчался следом за мной.

Жители окрестных домов выбирались на улицу, под угольно-черное небо, и пялились с ужасом и восхищением зеваки-горожанина на широкие языки пламени, вырывающиеся из верхнего этажа. Сзади наконец-то сотряс звоном воздух ближайший пожарный колокол – отдельные удары, призывающие помощь из Первого округа. Через секунду ответный звон донесся от купола мэрии, за парком.

– погоди, – сказал я, резко дернув Джулиуса за плечо.

Оставшиеся окна склада засияли, как горсть подоженных спичек – искры явно летели на все этажи, огонь пожирал внутренность огромного здания, будто оно было бумажным. Стекла лопались с резким звуком револьверного выстрела, и я не мог понять, почему.

Потом я понял, и мне стало совсем нехорошо.

– Это же магазин Макса Хендриксона, – прошептал я.

Карие глаза Джулиуса широко распахнулись.

– Господи, помилуй, – произнес он. – Если огонь дойдет до склада китового жира...

Мимо нас мелькнула красная фланель – из-за угла Биржи выскочил доброволец-пожарный: подтяжки болтаются, смешной кожаный шлем съехал на лицо. «Торопитесь заявить ближайший гидрант для своей дружины, – с привычным легким презрением подумал я. – Тогда им достанется вся слава». Тем временем до меня дошло, что мое собственное будущее становится сомнительным.

– Беги, хватай свои вещи, – распорядился Джулиус, не успев и рот открыть. – И молись, чтобы через час у тебя все еще был дом.

Я жил на Стоун-стрит, в двух кварталах от южного края Нью-стрит, дальше по Бродвею, и помчался прочь от обреченного здания. В моей голове не осталось ничего, кроме Мерси, моего дома и четырех сотен серебряных долларов, спрятанных под матрасом. Я доберусь до денег, если не погибну. Фасады магазинов, мимо которых я проходил тысячи раз, пролетали в мгновение ока – стулья ручной работы, книги в кожаных переплетах, рулоны ткани, едва различимые в темных витринах. Я мчался, едва касаясь ногами потертой мостовой, будто за мной гнался весь ад.

Это была моя первая ошибка. Ад разверзся впереди, в квартале от пожара на Нью-стрит.

Едва моя нога коснулась Брод, 38-й дом по Брод-стрит взорвался, как вулкан, и вокруг меня посыпались камни – гранитные снаряды размером со взрослого мужчину. Я резко остановился, и в эту секунду дом выстрелил в здание напротив грудой камня, которого хватило бы на хорошую каменоломню.

Первой у меня мелькнула мысль: «Господи Иисусе, кто-то заложил бомбу прямо в центре города». Но тут, остатками своих ослепленных адским пламенем мозгов, когда гигантский склад в 38-м по Брод промелькнул перед моим мысленным взором, я вспомнил – сейчас это хранилище селитры. Предназначенной для поставок пороха. Склад принадлежал всеми любимой паре торговцев, Крокеру и Уоррену. Которые, по правде говоря, были позором для Нью-Йорка. Когда грохот едва не разорвал мне барабанные перепонки, я подумал: «Вот ведь не повезло». Должно быть, в открытое окно залетела искра от пожара на Нью-стрит, и ветер погнал ее в глубь здания, в комнату с пороховыми бочками. В воздухе, высоко над мостовой, неподвижно висели узоры из пепла. Возможно, с моей стороны было тупо задуматься в такой момент о роли везения, но взрывы складов с селитрой, похоже, плохо сказывались на моих мозгах.

Я запоздало повернулся, чтобы бежать. Я успел сделать два шага, когда увидел летящую мимо меня женщину – рот открыт, на лице застыло удивление, волосы выгнулись дугой за спиной. С одной ноги слетела туфля, а на самой ноге виднелась кровь. Именно в эту секунду мне начали видаться всякие занятные штуки, как раз когда я осознал, что тоже лечу. Потом я услышал – нет, почувствовал, поскольку мир был нем, – как вся земля порвалась на куски, будто старая тряпка.

Когда я вновь открыл глаза, мир перевернулся. И по-прежнему взрывался.

Моя голова опиралась на дверь, все еще в раме, но ведь двери не должны лежать горизонтально. Интересно, почему эта лежит? И почему вокруг меня валяются здоровенные куски камня?

Крошечный язычок пламени лизнул женскую туфлю из красной кожи, всего в шести дюймах от моей руки. Эта одинокая искорка ужасно возмутила меня – подкрадывается так хитро, так самодовольно. Мне хотелось спасти туфлю, вернуть ее летающей женщине, но я не мог пошевелить рукой. Указательный палец на правой слабо дернулся, будто одурманенный, безмозглый зверек. Сквозь щель я увидел небо и удивился, как же так быстро рассвело.

– Тим! Тимоти!

Я узнал голос. От потрясения меня накрыла волна раздражения и дурацкого страха. Ну разумеется, уж он-то не лежит, залившись опиумом по уши. Конечно, нет. Слишком просто для него. Он шагает в самый центр бури, а вокруг сыплются осколки и сера. Как это на него

похоже.

– Тим, отзовись! Где ты? Ради Бога, Тим, откликнись!

Мой язык прилип к зубам. Я не хотел, чтобы он видел меня развалившимся в позе китайской танцовщицы, не в силах поднять одну туфлю. Я не хотел слышать его голос рядом со складом, который изображает самую большую в мире пушку. Но я мог только отметить это ватное нежелание.

Что-то липкое и металлическое бежало по моей щеке.

«Свет. Слишком яркий свет».

Мерцающее желтое пламя размером с очаг для Бога ударило мне в глаза, когда кто-то начал разгребать камни. Меня завалило только сверху. Ноги были свободны, а когда человек – медвежья фигура, но чисто выбрит – откинул в сторону тяжеленный железный засов, освободилась и голова.

– Тим, Господи Иисусе... Джулиус Карпендер спас твою шкуру, когда сказал, в какую сторону ты побежал. На всей улице нет ничего живого.

Я моргнул на моего старшего – на шесть лет – брата, покрытого сажей человека-гору. Пожарного, чей топор болтается на поясе, а лицо не разглядеть из-за пылающего за спиной ада. Мою злость разбавило внезапным облегчением. Когда он потащил меня за руки, я едва сдержал крик, а потом каким-то чудом умудрился остаться на ногах. Он перебросил мою руку через свое плечо, прикрытое грубой красной рубашкой, и потащил меня назад, откуда я прибежал, так быстро, как только я мог идти. Мы с трудом перебирались через завалы, будто шли по щиколотку в песке.

– Вал, там девушка, – прохрипел я. – Она приземлилась рядом со мной. Нам нужно...

– Осторожно, осторожно, – проворчал Валентайн Уайлд.

Я бы не расслышал его сквозь непрерывный звон, если бы его рот не был в двух дюймах от моего уха.

– Ты еще не в себе. погоди, пока мы не выберемся отсюда, тогда я посмотрю на тебя как следует.

– Она...

– Тимоти, я видел ее куски. Ее придется класть в могилу лопатой. Помолчи минутку.

Я больше ничего не запомнил, пока Валентайн не дотащил меня до газового фонаря у кирпичной стены на Нью-стрит и не прислонил к ней. Еще недавно пустынная деловая улица сейчас походила на растревоженное осиное гнездо. Сюда уже прибыли по меньшей мере три добровольные дружины, и каждый мужчина в красной рубахе напряженно и злобно посматривал на остальных. Никто не дрался, не спорил о гидрантах, не надевал кастет. Всякий раз, когда пожарные встречались взглядами, в них читалось: «А дальше? Что дальше?» Половина из них смотрела на моего брата, сначала мельком, потом пристально, не отрываясь. «Уайлд. Уайлд ничего не боится. Уайлд всегда знает, что делать. Уайлд идет в пламя, будто в розарий. Ладно, Уайлд. Что дальше?» Мне захотелось руками заткнуть им рты, заставить замолчать, прекратить взывать к моему брату.

«Чего они от него ждут? Что он должен сделать, когда весь город взрывается?»

– Тебя здорово потрепало, мой мальчик. Иди в ближайшую лечебницу, – распорядился Вал. – Я бы отвез тебя в больницу, но это далеко, а я нужен парням. Весь Стейт сгорит, если мы не...

– Тогда давай, ноги в руки, – с горечью выкашлял я.

Может, если бы я хоть раз пошел с ним, он бы перестал упрячиться и внял голосу

разума. Ничто не приводило меня в такую ярость, как одержимость брата открытым огнем.

– Мне нужно пойти домой, а потом я...

– Нечего тут шутки шутить, – отрезал брат. – Отправляйся к доктору. Тим, ты пострадал сильнее, чем думаешь.

– Уайлд! Давай помогай, он распространяется!

Моего брата поглотил бедлам красных рубашек, выкрикивающих друг другу приказы и кромсающих воздух в ленивых клубах дыма брызгами из шлангов. Я резко повернул голову, сознательно оторвавшись от Вала, и заметил пухлую фигуру судьи Джорджа Вашингтона Мэтселла, который сгонял кучку подвывающих женщин подальше от горящих домов, к лестнице Таможни. Мэтселл не просто политик; для местных он наполовину легенда, хорошо заметная личность, и не в последнюю очередь потому, что весом он с доброго бизона. Такой заслуживающий доверия общественный деятель, как судья Мэтселл, мог вести только в безопасное место.

Но я, то ли от злости, то ли от удара по голове, поплелся к своему дому. Известный мне мир сошел с ума. Неудивительно, что я последовал за ним.

Безоглядно, как сорвавшись с якоря, я шел на юг сквозь снежный буран с хлопьями цвета свинца. В центре Боулинг-Грин стоял фонтан – симпатичный, бурлящий, на его губах пенилась река. Фонтан бормотал, но его заглушали водопады пламени, истекающие из окон окрестных кирпичных домов. Красный огонь бушевал вверху, красная вода бурлила внизу, а я шел, пошатываясь, мимо деревьев, обхватив руками живот, и думал, почему мне кажется, будто я окунул лицо в соленую воду у Кони-Айленд, а потом подставил его холодному мартовскому ветру.

Когда я добрался до Стоун-стрит, она превратилась в стену огня. Мой дом исчез, будто унесенный потоками горячего воздуха. Один только взгляд на него разорвал меня на куски. Мимо моих ног сочились струйки воды из пожарных шлангов, вскоре вода хлынула потоком, таща с собой куриные кости и куски давленого салата, а я представлял, как мое расплавленное серебро струится по трещинам мостовой. Десять лет экономии превращались в сверкающую реку, покрывающую подошвы моих ботинок.

– Только стулья, – рыдала женщина. – У нас был стол, и он мог схватить белье. Только стулья, только стулья, только стулья...

Я открыл глаза. Знаю, я шел, но они были закрыты. Я находился на южной оконечности острова, посреди Бэттери-гарден. Но таким я его еще не видел.

Бэттери – место для гуляний, если у вас есть лишнее время для прогулок. Да, он усеян сигарными окурками и арахисовой скорлупой, но ветер с океана пробирает до костей, а платаны не заслоняют вид на леса Нью-Джерси, по ту сторону Гудзона. Потрясающий вид. Местные жители и туристы стоят здесь после полудня, опираясь на железную оградку, и смотрят на воду, поодиночке и вместе.

Но сейчас Бэттери превратился в мебельный склад. Женщина раскачивалась над своими стульями, всеми четырьмя. Слева от меня возвышалась спасенная от огня горка хлопковых кип. Невообразимой Вавилонской башней громоздились сундучки с чаем, а под ними лежал гигантский штабель метелок. Если получасом раньше воздух был засорен летним зноем, сейчас он нес с собой дым от горящего китового жира.

– О господи, – сказала женщина, которая тащила по меньшей мере полсотни фунтов сахара в аккуратно запечатанном мешке, вглядываясь мне в лицо. – Сэр, вам нужно обратиться к доктору.

Я едва ее слышал. Я осел на траву, рядом с креслами-качалками и мешками с мукой. Честолюбивый нью-йоркский парень теряет сознание, вокруг полыхает город, а у него в голове только одна мысль.

«Если мне придется копить деньги еще десять лет, она выберет кого-нибудь другого».

Когда я проснулся, нищим, растерянным, с тошнотой, мой брат уже подобрал мне новую профессию. К сожалению, таков вот Валентайн.

– А вот и ты, дружок, – протянул мой братец со стула, придвинутого к моей кровати, а потом уселся задом наперед, свесив над полированным кедром мощную светлую руку и наполовину изжеванную сигару. – Кстати сказать, часть Нью-Йорка еще цела. Правда, твоя хата и рабочее место – уже нет. Я проверил. Они здорово похожи на потухший очаг.

Значит, мы оба живы; не так уж плохо. Но где мы? На подоконнике в паре футов от меня стояла шеренга горшков с травой и миска, в которой бодро рос аспарагус – либо украшение, либо будущий ужин. Потом я заметил на дальней стене огромную картину со славным символом – белоголовым орланом, несущим в когтях стрелы, – и внутренне содрогнулся.

Жилище Вала, на Спринг-стрит. Я уже несколько месяцев здесь не появлялся. Второй этаж симпатичного уютного домика, с развешанными по стенам смешными политическими плакатами и патриотическими изображениями Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона. Пожарные – герои Нью-Йорка, а герои зарабатывают на повседневную жизнь политикой, поскольку очертя голову бросаются в пылающий ад, не получая за это платы. Потому их дни поделены: в качестве развлечения они тушат пожары, выбивают добродушие из соперников – членов других пожарных дружин – в организованных потасовках, пьют и ходят по шлюхам в Бауэри. А в качестве работы помогают друзьям избираться или получать назначения на городские места, и потому все они умудряются избирать и назначать друг друга. Может, люди и стали бы возражать против такой системы, но они поклоняются пожарным. Кто выступит против пожарного, если тот одет в красную рубаху и ты передаешь ему в окно собственного ребенка?

У меня не хватает смелости ни на то, ни на другое. Ни на политику, ни на длительное воздействие Вала.

Валентайн – демократ, точно так же, как некоторые люди бывают докторами, грузчиками или пивоварами, и цель его профессиональной жизни – растереть в порошок ненавистных вигов^[12]. Демократы не слишком беспокоятся о нескольких разрозненных группах антимасонской партии, чья единственная цель – убедить Америку, будто масоны намерены зарезать нас всех в кроватях. Они не проводят бессонных ночей из-за Партии свободы, поскольку, к радости нью-йоркцев, рабство здесь было полностью отменено в 1827 году, а посвящать свою политическую жизнь росту благосостояния чернокожих крайне немодно. Шкура Вала зудит от махинаций вигов: все они, как правило, торговцы, доктора и законники, по большей части зажиточные и каждый – с претензией на это, джентльмены-белоручки, которые устраивают грандиозную возню по поводу повышения тарифов и обновления банков. Общепринятый демократический ответ на аргументы вигов – восхвалить природную добродетель крестьянина, а потом швырнуть в Гудзон урны с бюллетенями, отданными за вигов.

Правда, по-моему, их главное различие не в политике. Насколько я понимаю, демократы желают получить голоса от каждого ирландского налогоплательщика, а виги желают отправить всех ирландских налогоплательщиков в Канаду.

Вся эта возня мне противна. Надо, правда, признаться, что брат мой живет неплохо. А для человека, который постоянно пренебрегает двумя верхними пуговицами рубашки пожарного и думает о морфине примерно как большинство людей – о тонике, дома он забавный чистюля. Каждое утро подметает пол и каждый месяц полирует подставку для дров ромом.

– Горло, небось, пересохло? Вода, ром, джин или пиво? – Брат порылся на кухне и, вернувшись, выставил на стол рядом со мной две кружки. – Давай, выбирай первую пару. Верись, мало 38-му на Брод селитры, там весь подвал был нафарширован французским кремом. Ряды бочек с бренди. Такой невезухи я в жизни не встречал...

Он продолжал трепаться, а я прищурился, стараясь сосредоточиться. Вал оделся с вялым тщеславием типичного парня из Бауэри, щеголяя нарядной белой рубашкой, черными брюками и полурасстегнутым шелковым жилетом с пионами. Здоровый, умытый, но явно вымотался. Мой брат – вылитый я, только на треть больше, мальчишеское лицо с ямочками, темно-русые волосы, острым клином заходящие на лоб, и печальные мешки под ярко-зелеными глазами. Правда, мы оба не сильны по части глубоких мыслей. Особенно Вал. Он скорее похож на другого типа: выходит, пошатываясь, из борделя – только что пырнул там кого-то ножом, – на нем повисла пара симпатичных молли, благоухает джином и смеется, как басовая труба органа. Очень живое описание настоящего американского мертвого кролика. Когда мой брат смеется, он вздрагивает, будто ему не следует смеяться. Так оно и есть. Никогда еще по гниющим городским улицам не вышагивал столь мрачный джентльмен в вычищенном черном сюртуке.

– Вот это было зрелище, Тим, – заключил Вал с кривой усмешкой. – И не прошло и пары секунд, как отовсюду полезло ворье. Один хитрющий старикан лет семидесяти нагреб столько сигар, что не мог запихать их в штотки, будь я проклят. Завязал штаны веревками на лодыжках и засыпал сигары туда.

И тут до меня дошло, что не так помимо моих травм: я по макушку накачан лауданумом. После ухода доктора (как я надеюсь) брат влил в меня столько настойки, что образ штанов, переполненных сигарами, показался мне на редкость кошмарным. Валентайн осторожно добавляет уксус в рыбный соус, присматривает за закипающим молоком для кофе, но в его венах течет столько наркотика, что правильно рассчитанной дозы опиатов от него не дождешься. Между тем, таинственная боль вгрызалась пылающими клыками в мое лицо. Мне хотелось ощутить рану. Может, опознать ее.

– Плевать на сигары. Как я тут очутился? – спросил я, язык с трудом ворочался во рту.

– Я нашел тебя на Бэттери, в крепости Святого Писания. Один парень из наших засек, как ты славно подружился с Библейским обществом – валяешься на спине в полной отключке – говорил я тебе, синичьи мозги, найти костоправа, – а в Партии все знают, что ты мой брат, и сразу заслали мне словечко. Эти святоши-горлодеры стояли на страже твоей тушки и тысяча двести шестьдесят одной Библии, спасенных с Нассау-стрит.

«Святоши-горлодеры». Церковники, стало быть. Я смутно припомнил контуры трех мужчин в сером церковном сукне на фоне мутного света звезд. Они спорили, будет ли безопасно оставить со мной и стопками Библий одного человека и отправить двоих за оставшимися книжками. Потом один предложил сходить за доктором, но двое других заявили, что это глупость. Господь даст мне силы, когда увидит, что его книги уцелели. Я в тот момент был не в состоянии возражать.

– Когда я появился, они сдали мне тебя с рук на руки, – небрежно продолжал Вал, сняв с

языка табачную крошку. – Тебе здорово ушибло два ребра и... в общем, долго лежать тебе не придется.

– Прости, что тебе пришлось пропустить часть пожара.

– В любом случае, я уже нас устроил, – объявил Вал, будто возвращаясь к теме, которую мы случайно упустили. – У нас с тобой, Тим, новая профессия. Она тебе понравится, как птице – воздух.

Я не обращал на него внимания.

Я возил кончиками пальцев по маслянистому квадрату ваты, прикрывающему верх правой стороны лица. Глаза в порядке, раз уж я вижу все ясно, как сквозь церковное стекло. Правда, наркотики все смазывают. И Вал сам сказал, худшие мои травмы – пара ушибленных ребер. Не мог же я повредить башку. Или мог? Я все еще слышал слова брата, сочувственные, но поспешные, когда он отвернулся и пошел вытаскивать людей из рушащихся домиков. Его голос звучал сухо, как наждак. Я не слышал такого голоса уже много лет. Я пытался представить, как выгляжу, и от этого кровь в жилах внезапно стала скользкой и верткой, как угорь.

«Тим, ты пострадал сильнее, чем думаешь».

– Мне не нужны твои устройства. Бегать для сената штата или работать инспектором гидрантов, – проскрежетал я, отбросив свои мысли.

– Говорю тебе, работа пухлее устричного пирога.

Вал встал и принялся застегивать пуговицы, изжеванная сигара подчеркивала выразительный рот.

– Только сегодня утром получил наши назначения, через Партию. Ясное дело, мое... чуток повыше. И в этом районе. Тебе я смог подобрать пост только в Шестом округе. Тебе придется там поселиться, найти новую нору, поскольку инспектор должен жить в том районе, который патрулирует. Но это не важно. Все равно твой дом уже давно смыт в реку.

– Не знаю, что там за работа, но – нет.

– Тимоги, к чему так перчиться? У нас должна быть полиция.

– Это все знают. Во всяком случае, я видел твой плакат. И не стал любить ее сильнее.

Несмотря на мои дурные предчувствия или, возможно, благодаря им, полицейская сага была первой политической темой, за которой я внимательно следил в течение нескольких лет. Безобидные граждане кричали о системе констеблей, а менее безобидные патриоты ревели в ответ, что свободные люди Нью-Йорка никогда не переварят постоянную армию. В июне был принят закон – победа демократов, – и безобидные граждане наконец-то получили свое, спасибо неутомимому хулиганью вроде моего братца – людям, которым в равной мере нравятся опасность, власть и взятки.

– Ты скоро передумаешь, теперь ты сам полицейский.

– Ха! – горько выдохнул я, и башку пронзило иголкой. – Вот это мило. Хочешь, чтобы на меня натянули синюю смирительную рубашку, а настоящие мужчины швыряли в меня тухлые яйца?

Валентайн фыркнул и как-то умудрился сделать меня еще меньше, чем обычно в его компании. Непростой трюк. Но он специалист.

– Думаешь, кто-нибудь застанет свободного республиканца вроде меня шагать в синей ливрее? Засохни, Тим. Теперь у нас есть настоящая полиция, без всякой униформы, а во главе – Джордж Вашингтон Мэтселл. Во благо, так они заявляют.

Я тупо моргнул. Судья Мэтселл, равно скандально известная и жирная городская фигура,

которого я видел в гуще пожара, он гнал зевак в сторону оазиса суда. От разных людей я слышал, что он выродившийся кусок сала, правая рука Господа, пришедший, дабы навести порядок на улицах, жадный до власти тролль, кроткий философ, в чьем книжном магазине продают презренные работы Роберта Дейла Оуэна и Томаса Пейна, и что он проклятый англичанишка. Я кивал на каждое заявление, как на истину из Евангелия. В основном потому, что мне было плевать. Что я, в конце концов, знаю о власти?

А вот место в новой полиции – явная интрига Вала. Хочет, чтобы я выглядел как идиот.

– Твоя помощь мне не нужна, – заявил я.

– Нет? – усмехнулся Вал, ухватившись за свою подтяжку.

Хорошенько подумав, я сел в кровати. Комната закружилась, будто я был майским шестом, виски обожгло пламя.

«Все не так плохо, как кажется», – подумал я, собрав остатки своего тупого оптимизма. Иначе и быть не может. Однажды, в десять лет, я уже потерял все, и знал множество людей, с которыми случилось то же самое. Они поднимались и шли дальше. Или поднимались и слегка меняли направление.

– Я снова пойду работать барменом, – решил я.

– Да ты вообще понимаешь, сколько народу лишилось работы?

– В гостиницу или в какой-нибудь из лучших устричных погребков.

– Тим, а как твое лицо? – резко спросил Вал.

В воздухе запахло серой. Мое горло перехватила горячая и зернистая ярость.

– Как будто меня шлепнули утюгом, – ответил я.

– Думаешь, оно наряднее, чем ты чувствуешь? – уже спокойнее усмехнулся он. – Малыш Тимоти, у тебя неприятности. Ты схлопотал порцию горячего масла на заметное место. Хочешь присматривать за баром на задах какой-нибудь бакалейной лавки? Удачи тебе. Но скорее тебя возьмут в музей Барнума, «Человеком, который потерял часть рожи», чем доверят бар в гостинице.

Я сильно прикусил кончик языка и почувствовал кровь.

Я больше не думал, как же заработать денег, чтобы не пришлось есть чертово куриное фрикасе Вала. Мой братец умеет готовить ничуть не хуже, чем убирать. Я даже не оценивал свои шансы продержаться на ногах столько, сколько нужно, чтобы врезать Валу кулаком в живот.

«Нет, – размышлял я, – кажется, всего два дня назад у тебя была куча серебра и целое лицо».

Я жаждал Мерси Андерхилл так, как жажду дышать, и в тот же миг надеялся, что она никогда больше меня не увидит. Мерси есть из чего выбирать. А я из мужчины с немалыми преимуществами превратился в парня сомнительной репутации. Все мое имущество теперь – шрам, при мысли о котором я покрывался холодным потом. Да, а еще – недостойный брат, который зарабатывает себе на хлеб, вышибая мозги из мрачных фврачников-вигов.

– Я тебя ненавижу, – очень тщательно выговорил я Валентайну.

Приятно, как паршивый виски, обжигающий горло. Горько и знакомо.

– Тогда соглашайся на эту чертову работу, и тебе не придется спать в моей норе, – посоветовал он.

Валентайн взъерошил свои рыжеватые волосы и прошелся к столу, налить себе рома. Полностью, всецело непробиваемый. Меня бесил брат, но эта его черта бесила меня сильнее всего. Если его хоть на гнилую фигуру волнует моя ненависть, так пусть, Христа ради, он это

как-нибудь выкажет.

– Шестой округ – чертова выгребная яма, – заметил я.

– Первого августа, – бросил Валентайн, допил ром, с нетерпеливым щелчком поправил подтяжки и разровнял меня взглядом и отправился за своим красивым черным сюртуком. – У тебя есть шесть дней, чтобы найти нору в Шестом округе. Занимайся ты политикой, я бы смог пристроить тебя получше, в Восьмом, но ты же ею не занимаешься, верно?

Он поднял брови, когда я попытался с вызовом встретить такую оценку моей политической недалекости. Но от этого у меня только разболелась голова, и я снова откинулся на подушки.

– Пять сотен долларов в год, плюс все остальное – либо награды, либо подмазку от схваченных кроликов. Или можешь заняться борделями. Мне до фонаря.

– Ага, – признал я.

– Как я уже сказал, я обо всем договорился с Мэтселлом. Мы с тобой начинаем первого августа. Я буду начальником, – с заметным самодовольством добавил он. – Уважаемая в городе личность, делает на этом приличные звенелки, и еще остается куча времени тушить с парнями пожары. Что думаешь?

– Я думаю, что увижу тебя в аду.

– Ну, тут не особо и поспоришь, – улыбнулся через плечо Валентайн; такая улыбка выглядела холодновато даже для гробовщика. – В конце концов, ты же будешь там жить.

На следующее утро, когда я уже не был таким окосевшим, как вчера, меня разбудил храп брата, доносящийся с тюфяка перед очагом. От брата здорово несло абсентом, а на столе у кровати валялся номер «Геральд». Вал мог читать записки от своего поверенного, а потом до посинения спорить с ним, но предпочитал попадать на страницы газет, а не просматривать их. И потому я не сомневался – газета оставлена для меня. И вот что я прочитал, пока ожог грыз меня с такой яростью, будто я минуту назад окунулся в огонь:

Экстренный выпуск «Нью-Йорк Геральд». Три часа утра.

СТРАШНЫЙ ПОЖАР: Величайший, самый ужасный пожар, который постиг город со времен великого пожара в декабре 1835 года, разрушил всю нижнюю часть города. По лучшей оценке, дотла сгорели три сотни зданий...

Мой взгляд дрогнул, не решаясь двигаться дальше.

По первым оценкам, ущерб составил от пяти до шести миллионов долларов...

В глубине души я уже знал, но только сейчас, несмотря на свое плачевное физическое состояние, в полной мере осознал: в дым над Гудзоном ушла уйма денег. Это было очевидно. Но не дома и доллары мучили моего беспамятного брата, хотя, судя по складке между бровей, он все равно был пьян в стельку. Единственное оправдывающее качество Вала заключается в его методе подсчета потерь от огня. Этот кодекс выбит глубоко в его груди, жесткий и неизменный. И потому саднящая боль, сильнее, чем от собственных ран, ударила меня, когда я прочитал:

Ужасный взрыв унес множество жизней.

В конечном счете, слава Богу, погибших оказалось только тридцать, и это при всем том дьявольском разгроме.

Но даже тридцать – слишком большое число для Валентайна. И для меня. По любому счету.

Папские страны Европы из года в год изрыгают на наши берега своих невежественных, суеверных и выродившихся жителей, которые уже претендуют на высочайшие привилегии граждан, и даже на саму страну.

Американское общество протестантов в защиту гражданских и религиозных свобод от посягательств папизма, 1843 год

Если вам не повезло в Нью-Йорке, главное – знать, как с этим справиться: нужно выкручиваться.

Валентайн и я, а нам было, соответственно, шестнадцать и десять, когда однажды мы проснулись единственными Уайлдами, быстро овладели этой жизненно важной хитростью. И потому три дня спустя пожара, вполне держась на ногах, хоть и вздрагивая от любого громкого звука, как помойный кот, я знал, что мои возможности ограничены: либо я приму предложение Вала работать в полиции, либо мне придется переехать за город и изучать сельское хозяйство. Поэтому я решил: раз уж я явно оказался в непрерывном кошмаре, то начну с полицейской работы. И брошу ее, как только подвернется что-нибудь получше.

Утром двадцать второго июля, когда сквозь летнюю вонь пробивался сильный ветер с океана, я направился вниз по Спринг-стрит, мимо торговцев ананасами и шарманщика на Гудзон-сквер, на поиски жилища. Которое поможет выкрутиться. При пяти сотнях в год мне нужно будет здорово выкручиваться. Ник платил меньше, но там в мою ладонь падали пятерки, двушки и доллары, брошенные безумцами в одних рубашках. Денежки, которые звенели у нас с Джулиусом в карманах, когда мы расставались в конце смены. Жалованье – совсем другая штука, стабильная, но пугающая. Теперь я увижу только долю прежних заработков, если не рассматривать всерьез вымогательство лишних звенелок у мадам.

Районы Нью-Йорка меняются быстрее, чем его погода. На Спринг-стрит, где живет Вал, обитают самые разные люди: американцы в синих сюртуках, воротники выпущены на лацканы, шляпы тщательно вычищены; веселые цветные девушки в убийственно ярких лимонно-желтых и потрясающе оранжевых платьях; самодовольные священники в коричневой шерсти и тонких чулках. На Спринг-стрит есть церкви, есть закусочные, от которых пахнет свинными отбивными с луком. Это не Бродвей к северу от Бликера, где возмутительно богатое светское общество и их слуги презрительно посматривают друг на друга, но это и не Шестой округ.

А я направлялся именно туда.

Когда я вошел в этот район по Малбери-стрит, держа в кармане пару ядовитых долларов Вала, я сразу понял, что на этой улице забытых Богом католических страданий нет никаких ухищрений, которые можно обернуть себе на пользу. Следом я подумал: «Боже, храни Нью-Йорк от вестей о погубленном вдали картофеле».

Я узнал, куда первым делом попадают толпы эмигрантов, непрерывным потоком хлещущих на причалы Саут-стрит: весь следующий квартал состоял из ирландцев, собак и крыс, которые делили общих блох. Я никогда не сидел в одной лодке с нативистами^[13], но

сейчас просто не мог сдерживать спазмы отвращения. Людей было слишком много, они бродили туда и сюда, и мне пришлось сосредоточить внимание на ком-то одном, чтобы голова не закружилась. Я смотрел на сонного крестьянского мальчишку лет тринадцати в протертых на коленях штанах, босого, но в синих чулках, который прошагал мимо меня в угловую бакалейную лавку. Он обогнул бледную подгнившую капусту, сложенную у входа, и направился прямо к виски-бару. Его осанка вполне соответствовала зданию. Шестой округ выстроен на болоте Коллект-понд, но даже если вы об этом не знаете, то все равно задумаетесь, почему дома склоняются под безумными углами, сшивая дикими стежками небо.

Я перешагнул через дохлую собаку, недавно сбитую повозкой, и двинулся дальше, пробираясь сквозь толпу. Все мужчины целеустремленно направлялись в лавки, продающие несъедобные овощи, руки женщин от тяжелой работы были краснее их рыжих волос, а дети... все дети выглядели измученными и голодными. Я заметил только одного почтенного мужчину. Священника с идеально круглой головой, голубоватыми глазами и в тугом белом воротничке. Но он помогал самым убогим из всех местных жителей. Или так я надеялся.

Нет, на Малбери американец не сыщется никаких ухищрений. Мое лицо жарилось на солнце, и пот пропитывал и так влажную повязку. А может, и не пот. Но мне не хотелось об этом думать.

Микеланджело не работал над моим лицом, но оно вполне мне подходило. Овал, стремящийся к юношеской округлости, почти такой же, как у брата. Широкий и высокий лоб, выгнутая дугой линия волос, неопределенно светлые волосы. Прямой нос, небольшой рот, нижняя губа чуть выгнута вниз. Светлая, несмотря на жаркие летние месяцы, кожа. Правда, раньше я никогда не разглядывал особо свою черепушку, поскольку если мне хотелось провести часок-другой с лодырничавшей дочкой лавочника или озабоченной горничной из гостиницы, я всегда получал желаемое. Значит, лицо было вполне себе. Если мне хотелось покувыркаться, я не тратил ни цента. Мне говорили, что я нечасто улыбаюсь. Видимо, поэтому многие люди желали поделиться со мной историей своей жизни, после чего совали пару восьмушек, за терпение.

Сейчас я совершенно не представлял, на что я похож. Боль и так уже заставила меня стащить у брата пузырек лауданума, и я не собирался добавлять к ней эстетический ужас.

– Ты дуралей, – заявил брат, покачивая головой, пока он тщательно обжаривал кофейные зерна. – Ради Бога, не рубись на меня. Взгляни на себя мимоходом, и хватит.

– Отвали, Валентайн.

– Слушай, Тим, я отлично понимаю, почему ты поначалу держался в тени, ты тогда был еще пискуном и все такое, но...

– Но не позже чем завтра я исчезну из твоего дома, – ответил я на выходе, эффектно закончив разговор.

Я перешел Уокер-стрит, свернул на Элизабет – и тут от неожиданности встал как вкопанный, засунув руки в свои закопченные карманы.

Передо мной было чудо. Весь набор ухищрений налицо.

Пороги и ставни в этом квартале если и не сияли, то были вымыты с уксусом и солидно блестели. На веревках между домами, чуть покачиваясь под солнцем, висела не рванина, а бережно заштопанное белье, и оно напомнило мне о доме. А прямо передо мной стоял двухэтажный кирпичный домик, аккуратный и ровный, с надписью «Комнаты в аренду на день или месяц». На первом этаже в глаза бросался небольшой тент с симпатичными

буквами – «Пекарня миссис Боэм». Всего в десяти футах от входа стояла колонка, готовая выдать порцию чистой кротонской воды.

Если вам захочется считать, тут было четыре потенциальных ухищрения.

Во-первых, насос означал чистую речную воду из Вестчестера, а не грязную и тухлую из манхэттенских скважин. Если рядом с домом есть кротонская колонка, значит, домовладелец платит за обслуживание вперед, а такое бывает не чаще, чем прогулки по замерзшему океану до Лондона. Это лучше, чем жить рядом с тремя бесплатными общественными колонками. Во-вторых, живя над пекарней, можно рассчитывать на остатки вчерашнего хлеба. Пекарь в тысячу раз охотнее отдаст лишний ломоть ржаного хлеба соседу, нежели чужаку. В-третьих, пекарни топят свои печи дважды в день, и в ноябре тепло будет стоить малую толику того, что платят люди, поскольку печи будут не только выпекать тминные булочки, но и греть мой пол.

Наконец, «миссис Боэм» означает вдову. Женщина не может открыть собственное предприятие, но, если она предусмотрительна, то может его унаследовать. А краска на буквах «миссис» была свежее, чем на фамилии. И это ухищрение номер четыре. Если у вас не хватает денег на аренду, а вдове нужно починить крышу, на улице вы не окажетесь.

Я толкнул дверь в пекарню.

Маленькая, но ее любят и заботятся. На простом сосновом прилавке лежит ржаной и обычный фермерский хлеб. Выпечка помельче разложена на широком блюде с цветочными узорами. Из кекса торчал изюм, и я остро почувствовал запах засахаренных апельсиновых корок.

– Желаете какой-нибудь хлеб, сэр?

Я перевел взгляд с выпечки на женщину, которая шла ко мне, вытирая руки о фартук. Миссис Боэм выглядела примерно моей ровесницей, ближе к тридцати, чем к двадцати. Подбородок твердый, блекло-голубые глаза настороженные и пытливые. Похоже, она лишилась мужа не так уж давно. Волосы цвета семечек подсолнуха, усеивающих ее булочки, тускло-русые, почти серые, а лоб слишком широкий и слишком плоский. Но рот, тоже чересчур широкий, щедро изогнут, что странным образом не сочеталось с ее худобой. Как только я разглядел ее губы, я легко представил, как миссис Боэм снимает лишнее масло с толстого ломтя свежего фермерского хлеба. Эта картинка сразу мне понравилась, в ней было что-то удивительно приятное. Миссис Боэм не казалась скупой.

– А что у вас чаще покупают? – спросил я, любезно, но без улыбки.

Улыбка превращала мой ожог в пылающее пятно. Но бармен способен выразить доброжелательность и без нее.

– Драйкорнброт, – кивнула она на хлеб; голос низкий и приятно грубоватый, выговор богемский. – Трехзерновой. Испекла полчаса назад. Одну буханку?

– Пожалуйста. Возьму его на обед.

– Что-нибудь еще?

– Мне понадобится место для обеда, – ответил я и сделал паузу. – Меня зовут Тимоти Уайлд, и я рад знакомству с вами. Комнаты наверху еще сдаются? Мне очень нужно жилье, а ваше, кажется, отлично мне подходит.

В тот же день я купил на деньги Вала свежий и хорошо набитый соломенный матрац и дотащил его на плече до Элизабет-стрит, хотя мои ребра возражали при каждом шаге. В моем новом доме было две комнаты: большая, двенадцать на двенадцать футов, два чахлая окна выходили на задний глухой дворик, по которому топтались куры. Я решил пренебречь

спальной каморкой без окон в пользу сна в гостиной.

Уложив шуршащий матрас перед открытыми окнами, я растянулся на нем как раз в ту минуту, когда солнце исчезло, оставив только красный мазок. По крайней мере, здесь я мог вдохнуть прохладу звездного света. И это было тем лучше, что я ощущал себя единственной тихой точкой в пространстве непривычных звуков. Откуда-то издали доносились вопли драчунов, дикие и ликующие. В соседнем доме, через улицу, негромко гудели мужчины-немцы, сторбившиеся над пивными кружками. Мне не хватало моих книг, кресла, моего синего абажура и моей жизни.

Я буду жить здесь, подумал я, буду работать в полиции, хотя никто, и в первую очередь я, не знает, как это делается. И, кусочек за кусочком, все станет лучше. Оно должно стать лучше. Меня вышибло на обочину, и теперь главная хитрость – продолжать двигаться.

В ту ночь мне приснилось, что я читаю роман Мерси. Великолепную сагу, которую она намеревалась написать с того дня, как прочитала «Собор Парижской Богоматери». Три сотни страниц мягкой бумаги, перевязанных зеленой лентой. Ее книга ложилась на страницы рябью воды, почерк напоминал запутанные бельгийские кружева. Слова, выкованные на булавочной головке, но простертые на мили, если ты сможешь их разгадать. Творение, ослепляющее своего создателя.

Первого августа, в шесть утра, заглянув предварительно в магазин и набрав на деньги Вала приличный комплект подержанной одежды, включая черные брюки и чулки, простой черный сюртук и белый шейный платок, а также революционно окрашенный алый платок на груди, в качестве кивка политике, я представил себя зданию суда на Сентр-стрит. Кроме того, на мне была круглая шляпа, с полями шире привычных. Едва надев ее – а шляпа была броской, – я почему-то ощутил себя приятно невидимым.

Этим утром в воздухе у здания, недавно назначенного главным полицейским управлением, кружилась пыльная буря; всепроникающий песок и резкий жар солнца, пока человек не перестанет соображать. Вполне подходит такому сооружению. Не прошло и двух недель, как совмещенную с судом тюрьму прозвали Гробницами. Одного взгляда на угольно-черные гранитные плиты хватало, чтобы подавить человека, вышибить из него дух. Глухие окна тянулись на два этажа вверх, но и сами они были заключены в железные рамы размером с каминную решетку для великана. Над каждым окном, вырезанный из болезненного серо-свинцового камня, виднелся шар с парой бредовых крыльев и комплектом змей, которые боролись с планетой, пытаясь вернуть ее на орбиту.

Если здание старались сделать похожим на место, в котором хоронят заживо, они справились на всю четверть миллиона долларов.

Когда я подошел ко входу, в глаза бросилась маленькая кучка протестующих. У всех чудовищно цветастые и тщательно завязанные галстуки, у большинства хотя бы единожды сломан нос. У нескольких были повязаны траурные ленты, но без настоящего траурного костюма, так что я счел их неким актом символического протеста. Один держал в руках табличку с надписью «Долой теранию полиция твои дни сочтены». Когда я проходил мимо, этот сероглазый парень сплюнул прямо мне под ноги.

– По чем траур? – из любопытства спросил я.

– По правам, свободе, справедливости и духу американского патриота, – растягивая слова, ответил корноухий верзила.

– Тогда стоило бы надеть черные галстуки, – посоветовал я, входя в тюрьму.

Снаружи Гробницы были только толстыми стенами и высокими окнами, заключенными в железо. Но когда я миновал восемь шагов, ведущих под суровые колонны, оказалось, что внутри здания находится четырехугольный двор, и это невольно заинтриговало меня. Здесь были открытые площадки, четырехэтажные тюремные блоки, разделенные на мужские и женские, и уйма залов заседаний, в которых решалось, сколько продлится погребение заключенных. Бычара с изрытым оспой лицом и в грязном белом галстуке направил меня в самый большой зал, где полицейских должны были проинструктировать об их обязанностях.

Когда я шел по открытой площадке, где своего часа дожидались виселицы, ко мне присоединился какой-то чудаковатый старикан. Я просто не мог не пялиться на него. Одет он был очень бедно, на поношенном черном сюртуке яичные брызги, и вдобавок кривобокая походка. Совсем как у краба. Такой странный шаг низводил рост старика практически до моего. Глядя на его лицо, сдавленное, без подбородка, с бледно-карими глазами, я окончательно уверился, что он приполз сюда из океана. По моей оценке, ему было около шестидесяти. Он носил квадратные голландские ботинки старинного фасона, а его тонкие седые волосы колыхались на незаметном ветерке.

В том же темпе мы вошли в зал заседаний. Старикан суетливо поспешил к стульям, и я последовал его примеру, посматривая по сторонам, пока не обосновался на скамье, где обычно сидели защитники. Стены здесь были тщательно побелены, перед нами возвышалась пустая судейская кафедра. Я поглядывал на свой новый отряд.

В такой пестрой толпе пришелся бы впору и шутовской наряд. В зале сидели около пятидесяти человек, и я вновь почувствовал себя пятном безучастной тишины среди общей сумятицы. Полно ирландцев, на натруженных руках вздулись вены, на щеках топорщатся рыжие бакенбарды, настороженные и воинственные взгляды, грязные синие сюртуки с длинными хвостами и потертыми медными пуговицами. Хитро щурятся черные ирландцы^[14], бледные и широкоплечие. Рассеянные по залу немцы, с терпеливыми и самоуверенными лицами, разговаривают, сложив руки на груди. Американцы с опущенными воротниками насвистывают мелодии из мюзик-холлов Бауэри и подталкивают локтями смеющихся друзей.

И, наконец, я и старикан-краб в голландских ботинках, мы ждем приказов. У него было заметно больше энтузиазма, чем у меня.

– Добро пожаловать, джентльмены! Я рад приветствовать полицию Шестого округа Первого района великого города Нью-Йорка!

Посыпались хлопки. Но меня слишком поразил человек, который только что вошел в зал через дверцу для судей и направился к левой стороне возвышения. В конце концов, последний раз я видел его в центре пылающего инферно, и сейчас мне хотелось повнимательнее рассмотреть его. Если в зале и был хоть один новый полицейский, не очарованный Джорджем Вашингтоном Мэтселлом, я определенно пропустил этого парня.

Позже я узнал, что Мэтселлу было всего тридцать четыре, когда демократическое большинство в городском совете избрало его на пост первого начальника полиции Нью-Йорка. Но стоящий перед нами человек, увесистый, как морж, и в два раза обветренное, выглядел старше. Его опережала двойственная репутация – святость и разврат, но, даже понимая, насколько сильное впечатление он производит как личность, думаю, в тот день никто еще не мог оценить его по достоинству. Сейчас я мог только с уверенностью сказать, что Мэтселл обладает в равной степени умом и напористостью. Кроме того, на весах он должен был потянуть не меньше трехсот фунтов^[15]. Его мясистое лицо по форме напоминало

заглавную «А»: небольшие брови, опущенные к носу, глубокие складки от ноздрей к тонким губам с печальным изгибом, тонкие морщинки, бегущие от уголков рта по щекам.

– Вся эта кучка дохлых сельдей, именуемых полицией Харпера или синесюртучниками, слава богу, окончательно расформирована. Поздравляю вас с новым назначением, которое действительно в течение одного года, – громко объявил Мэтселл ровным баритоном, вытянул из своего серого мешковатого полупальто лист бумаги и взгляделся в него сквозь круглые очки. – После выборов, если баланс в городском совете останется прежним, вы, разумеется, всегда сможете получить повторное назначение.

Он только что описал, почему люди вроде Валентайна так сильно заняты: одна серьезная политическая неудача, и все твои друзья останутся без работы и будут жить в заброшенных полуразломанных вагонах к северу от расплывчатых границ цивилизации в районе Двадцать восьмой улицы. Выборы решают, чья орда крыс будет глодать кости. Я почувствовал себя чуточку крысой, помня, как сам попал сюда, поскольку если тут и были люди, которые не голосовали за демократов, они сидели тихо и не высывались.

– Некоторые из вас, – продолжал начальник полиции, – выглядят так, будто им не терпится узнать, чем же они будут заниматься.

Несколько мрачных смешков, шарканье ботинок.

– Вы дежурите по шестнадцать часов. В течение этих дневных – или ночных, конечно – часов вы будете предотвращать преступления. Если вы видите, как человек вламывается в чью-то нору, арестуйте его. Если вы видите бродячего ребенка, подберите его. Если вы видите, как женщина лезет в карман какого-нибудь растяпы, арестуйте ее.

– А если она просто мэб, гуляет и ищет дружка-джентльмена? – выкрикнул развалившийся на скамье грубиян. – Нам ее арестовывать? Разве проституция – преступление?

С десятков мужчин рассмеялись. Двое-трое свистнули. Я молча согласился с ними.

– Ясное дело, – спокойно ответил Мэтселл. – А потом она тихо-мирно пойдет с тобой, а еще свидетели, которые дадут показания в суде, так что построй пока самую большую в мире тюрьму и дай знать, когда закончишь.

Новые смешки. А я уже во второй раз почувствовал укол интереса. Похоже, на этой работе понадобится хотя бы пару раз в день думать, а не топтаться по улицам надутым ослом.

– Но вернемся к делу: если вы начнете тащить каждую встреченную сову в участок по обвинению в проституции, я сам вышибу вас вон. У нас нет на это времени. Городские награды отменены, но если вы захотите принимать вознаграждение от довольных граждан – это ваше личное дело, – объявил начальник полиции, ведя длинным носом по исчерканной бумаге. – Мы распустили следующие инспекционные управления: улиц, парков, общественного здоровья, причалов, гидрантов, ломбардов, старьевщиков, конюшен, станций, повозок, дорог и недвижимости. Все эти люди теперь – вы. Воскресные стражи трезвости и звонари тоже распущены. Эти люди – тоже вы. Пятьдесят четыре пожарных инспектора тоже уволены. Мистер Пист, кто они теперь?

Краболицый старый мошенник в голландских ботинках вскочил на ноги, выкинул в воздух морщинистый кулак и крикнул:

– Это мы! Мы пожарные инспекторы, мы щит людской, и пусть Господь благословит старые добрые улицы Готэма!^[16]

Аплодисменты и топот подошв, наполовину насмешливые, наполовину –

одобрительные.

– Мистер Пист – из старой стражи, – кашлянул начальник Мэтселл и поправил на носу очки. – Если вам понадобится узнать, как отыскать краденое имущество, поговорите с ним.

Лично я сомневался, что мистер Пист, который только сейчас обнаружил следы яйца на своем жилете и отковыривал их ногтем, способен отыскать собственную задницу. Но я решил об этом не распространяться.

– Большинство из вас будет сегодня назначено полицейскими инспекторами, но еще открыто несколько особых должностей. Я вижу здесь много пожарных. Доннел, Брик, Уолш и Дойл, вы отвечаете за связь с пожарными дружинами, позже я назначу и других. Кто-нибудь здесь знает брызги?

Меня поразила реакция: в воздух взметнулись десятки рук. В основном опасные на вид американские мертвые кролики, британцы с татуировками и самые исчерченные шрамами ирландцы. Немцы, почти все, молчали. Тем временем в воздухе запахло грозой. Чем бы ни были эти должности, они явно обеспечивали кратчайший путь к мягкому подбрюшью Нью-Йорка.

– Не скромничайте, мистер Уайлд, – мягко добавил Мэтселл.

Я потрясенно взглянул на нашего начальника из-под полей шляпы. Минуту назад я ощущал себя совершенно прозрачным, но похоже, здорово ошибся.

Брызги, или брызгальное наречие, является курьезным диалектом жуликов, уличных воров, мордovorотов, чиркал с костями, мошенников, газетчиков, наркоманов и Валентайна. Я слышал, что оно основано на жаргоне британских воров, но будь я проклят, если имел возможность сравнить. Это не язык, скорее – код. Слова жаргона заменяют повседневную речь и используются, когда знакомый с наречием браток предпочитает, чтобы сидящий рядом очкастый счетовод занимался своим собственным чертовым делом. Само слово «брызги», к примеру, обозначает нечто, донельзя нарядное. Конечно, большинство говорящих на этом наречии мужчин и женщин – беднота. И заметная часть нашей уличной молодежи вырастают, не слыша иной речи. И потому каждый день все больше честного рабочего люда случайно использует словечки из брызг, вроде «мой кореш» или «сыграть в ящик», но это всего лишь неумелое искажение языка. Мэтселл говорил о высоком уровне познаний.

И дело не в том, что сейчас на меня паялился каждый чертов прохиндей и кролик. Я не мог сообразить, как Мэтселл узнал меня, когда из-под шляпы виднелась только нижняя часть лица.

– Сэр, я ни капли не скромничаю, – честно ответил я.

– Вы хотите сказать, что не понимаете речь собственного брата или что капитан Валентайн Уайлд солгал, когда назвал вас самым многообещающим новобранцем?

Капитан Уайлд. Ну конечно. То же молодое лицо, глубокая линия волос, тот же светлорусый оттенок, только вполовину меньше и с тремя четвертями лица. Я так стиснул зубы, что под повязкой вздрогнул незаживший ожог. Типичный Вал. Мало найти мне работу, которую я не желаю и на которую не гожусь. Все должны видеть, как я, что называется, сыграю в ящик.

– Ни то, ни это, – с усилием ответил я. – Собаку, может, не съел, но въезжаю.

На брызгах это означало «знаю, но не очень». Однако я собирался постараться изо всех сил.

Рука мистера Писта взвилась вверх, как шутиха на Четвертое июля.

– Шеф, пройдем ли мы и остальные новобранцы обучение, прежде чем отправимся на службу?

Я никогда не видел, как Джордж Вашингтон Мэтселл фыркает, но сейчас он был очень близок к этому.

– Мистер Пист, это все, что я могу для вас сделать, чтобы наш благородный народ не начал вопить о «регулярной армии» и не подавил нашу деятельность в зародыше из чистого патриотизма. Вряд ли мне нужно добавлять, что самые крикливые патриоты сейчас – первостатейные злодеи. Не стоит терять ни минуты – капитаны займутся с вами шагистикой, а потом раздадут расписание дежурств, соответствующее моим указаниям. Знатоки брызг отправятся туда, где они нужнее всего. Вы приступаете завтра. Доброго утра и удачи.

Шеф Мэтселл двигался с поразительной для его размеров скоростью, как атакующий бык, и исчез в мгновение ока. По толпе прокатилась волна перешептываний, в моей груди что-то колыхнулось. Пара капитанов, высокий черный ирландец в цилиндре и уроженец Бауэри с бачками и окаменевшим взглядом, переглянулись. «Что это он назвал шагистикой?» Я видел, как движутся губы американца. Простой навык, который я приобрел всего через два месяца работы в устричном погребке. Шум в нем напоминал рев бунтующей толпы. Трудно дать парню выпивку, если ты не можешь разобрать, чего он хочет.

«Они должны знать, как маршировать при беспорядках, если бунты будут опасны для города, – глубокомысленно кивая, ответил ирландец. – Правильно выстроенная полиция способна разогнать толпу».

«Ей-богу, это оно самое и есть».

Так что мы провели следующие три часа, обливаясь потом и учась ходить строем во внутреннем дворе Гробниц. Это не слишком помогло нам познакомиться с полицейской работой. Но арестанты, которых вели из залов суда в тюремные камеры, явно хорошо развлеклись.

Я был ближайшим к дверям в зал суда, когда мы закончили дурацкий парад, и потому – первым, кто получил назначение. Когда высохший клерк, перед которым я сидел, поинтересовался моей квалификацией, я внутренне вздрогнул, но сыграл сданными мне картами.

– Я немного говорю на брызгах, – сказал я.

Господи, помоги мне.

– В таком случае мы направим вас к перекрестку Сентр и Энтони. Ваше дежурство с четырех утра до восьми вечера, – объявил клерк и вытянул из одной из стопок эскизную карту. – Вот маршрут, который вы должны обходить. На работе никакой выпивки, бесчинств или развлечений. Ваш номер один-ноль-семь. Доложите о заступлении на службу в Гробницах, завтра в четыре.

Я встал.

– Подождите.

Клерк полез в большую кожаную сумку и достал медный значок в форме звезды. Он вложил предмет мне в руку и пробормотал: «Когда вы на службе, вы не должны ее снимать».

Я сжал пальцами металл. Простенькая штуковина, немного кривая. Обычная отчеканенная звезда, тускло отполированная, цвета опавших листьев, усыпавших осенью Сентрал-Холл-парк. Особо не на что посмотреть, правда, подумал я, их наверняка делали в спешке. Я коснулся шляпы, прощаясь с клерком, и первым вышел из широкого гранитного проема.

Первым полицейским управления полиции города Нью-Йорка.

В Шестом округе нас было пятьдесят пять, широчайший выбор негодяев, чистейших и с

примесью. Но у нас все равно есть нечто общее, понял я на пути домой, к Элизабет-стрит и кувшину баварского лагеря. Все мы до последнего человека, полицейские 1845 года со звездами, ущербные, подумал я. Изъявленные. У каждого есть нечто, недоданное или отнятое у нас этим городом. Нам все время чего-то не хватает. Какого-то кусочка или обрывка. В каждом из нас есть щель, о которой невозможно забыть.

Три недели спустя, когда я все еще размышлял, как лучше спрятать и тут же позабыть мои собственные неприглядные дыры, я встретил окровавленную девочку. Лунный свет, стянувший ее волосы в прическу ирландской вдовы, которой стукнуло полвека, окрашивал ее платье в тускло-серый.

Ее зовут Авлин О'Дейли. Маленькая птичка, вот что это значит, Птичка Дейли. И она собиралась перевернуть город вверх тормашками. Двадцать первого августа, вот когда это случилось. Тогда-то мы и нашли бедняжку. Но я забегаю вперед.

В доме № 50 по Пайк-стрит есть подвал примерно в десять квадратных футов и семь футов высотой, с одним очень маленьким окном и старой наклонной дверью. В этом небольшом помещении в последнее время проживали две семьи, состоящие из десяти человек разных возрастов.

*Санитарное состояние трудящегося населения Нью-Йорка,
январь 1845 года*

Ранние подъемы миссис Боэм, как и всякого пекаря, оказались сущей находкой. Моя хозяйка охотно стучала мне в дверь в три тридцать, еще до рассвета. Я видел желтое пятно от ее свечки, кричал: «Доброе утро!» и со стоном поворачивался на бок. Таков был мой новый распорядок дня. Струйка медового света неторопливо стекала по лестнице, я менял повязку в предрассветном полумраке и наслаждался получасом прохлады, которую еще не испортило солнце. «Я посмотрю на свое лицо», – думал я каждое утро, хотя, по правде говоря, у меня не было собственного зеркала. Дальше следовало: «Так почему ты до сих пор не бросил взгляд на отражение в витрине магазина или еще где-нибудь?» Следующим щелкало «ты дуралей», сказанное голосом брата, и так каждый вечер, когда я задувал свечу и забывался тяжелым сном. Говоря себе, что мое лицо ничего не значит в грандиозной схеме мироздания. В конце концов, ребра зажили довольно быстро, и разве не лучше держаться хороших вестей? Я пришел в прежнюю форму, хотя еще не привык к усталости, которая стягивала мои кости в миг пробуждения, когда солнце только ласкало мир жаркими губами. «Красота – банальность», – думал я. Или: «Я не тщеславен».

Да и потом, я уже узнал об этом больше, чем хотелось. «Вам повезло, – за день до ухода от Вала сказал мне гнусавый сутулый доктор, – вы не потеряли глаз. Вероятно, повреждение даже не повлияет на ваши лицевые мышцы в regio orbitalis – рубец будет обширным, но мышцы frontalis и orbicularis oculi будут работать нормально». И потому я знал медицинский жаргон, знал, что у меня постоянно жжет кожу выше правого глаза, включая висок, треть лба и даже немного за линией волос. А еще я помнил гримасу, которая мелькнула на лице моего брата в тот миг, когда, по его мнению, я его не видел. Разве всего этого не достаточно?

Правда, мой стоицизм был блефом – от одной мысли о взгляде на свое лицо у меня скручивало живот. Увертки труса, а не флегматичное признание фактов. Однако сейчас я не встречал людей, которые знали меня настолько хорошо, чтобы заметить или отметить такой пустячок; я старательно избегал Вала, и это было прекрасно. «Все было прекрасно».

Утром двадцать первого августа я впервые сам проснулся в три часа. Мне следовало бы отметить этот знак, но я не обратил на него внимания. Я просто наблюдал в окно за пеленой облаков, которые душили город в ожидании бури. В такую погоду кажется, будто ты утонул.

Внизу я оставил на прилавке пенни и взял из корзинки со вчерашними остатками круглый хлебец. Ухищрения. Я напялил широкополую шляпу, засунул в карман хлебец и направился в Гробницы, с которых начиналось мое дежурство. В минувшие две недели мое хождение дозором было довольно занимательной мутью, хотя я не собирался в этом признаваться. Но я могу сказать честно: я был патрульным в очень интересном районе. А

слово «патрульный» говорит само за себя: я наворачивал круги, пока не встречал желающего оказаться под арестом. Просто, да; однако увлекает – молча и серьезно ходить мимо десятков людей и внимательно разглядывать их, убеждаясь, что никому не требуется помощь и никто не собирается причинить вред другому.

Расписавшись в Гробницах, я направился к Сентр-стрит. Мимо тащились конки, влекомые огромными лошадьми, колеса вспенивали толстый слой пыли, работая на благо чистильщиков обуви. Когда я дошел до внушительного здания газовой станции на углу Кэнел и Сентр, я повернул налево. Меня восхищали бурление и толкотня Кэнел – овощные лавки распахивают галантерейные, витрины нафаршированы сверкающими ботинками, рядом выставлены рулоны бирюзового, алого и фиолетового шелка. Над изобилием часов и соломенных шляп проживают клерки, рабочие и их семьи; мужчины попивают утренний кофе, облокотившись на высокие подоконники. В северном конце, у Бродвея, стоят наемные упряжки; верх четырехколесных повозок открыт розовеющему небу, возницы курят сигары и сплетничают в ожидании первых заказов.

Бродвей был для меня знаком поворачивать на юг. Если есть на земле улица шире и бурливее Бродвея, улица, где головокружительные качели возносятся от опиумных безумцев в гнилых тряпках к дамам в прогулочных платьях, разукрашенных как небольшие пароходы, я не могу ее представить. Или не хочу. В то утро я шел мимо цветных лакеев в летних соломенных шляпах и бледно-зеленых полотняных сюртуках, сидящих на верхушках фаэтонов или суетящихся внизу; один едва не столкнулся с еврейкой, которая торговала лентами с широкого лотка, висящего на шее. Мужчины доставляют лед от «Никербокер Компани», на плечах вздулись мышцы, железными щипцами выхватывают ледяные блоки с повозок и везут на тележках в роскошные отели, пока не проснулись гости. И тут же мечутся туда и сюда покрытые коркой грязи, назойливые и удивительно ловкие пестрые свиньи, вороша гибкими пяточками свекольную ботву. Замызгано все, кроме витрин, продается все, кроме бульжников, каждый пульсирует энергией, но никто не встречается с тобой взглядом.

С Бродвея я повернул на восток, на Чамберс-стрит. По левую руку росли элегантные кирпичные фасады – кабинеты законников и прикрытые ставнями приемные докторов. По правую присел Сити-Холл-парк, охватывающий не только мэрию, но и городской архив. В нем все было раскрашено в два цвета – грязный и коричневый. Когда я дошел до конца этой вытопанной червоточины, я оказался на Сентр-стрит и вновь направился к Гробницам.

Подозрительное это место, где Сентр пересекает Энтони, всего за квартал до Гробниц.

За две недели работы полицейским я совершил семь арестов. И все не дальше плевка от перекрестка Сентр и Энтони. Двое парней из шаек, которые занимались тем, что мой брат и прочие мошенники называли мошенничеством – продавали эмигрантам поддельные сертификаты на акции. Трое мужчин, их я повязал за нахождение в пьяном состоянии и нарушение общественного порядка. Единственной трудностью тут было объяснить им: «Да, закон требует, чтобы ты пошел со мной. Нет, меня не волнует, что это разобьет сердце твоей святой мамы. Нет, я ничуть тебя не боюсь. И – да, если понадобится, я потащу тебя в Гробницы за ухо». И, наконец, пара мелких дел о нападении с участием крепкой выпивки, усталых рабочих и шлюх, которым не повезло попасть под горячую руку. На самой Энтони-стрит, с любой стороны за путями конки взгляд встречает дома – угольные мазки, которые нетвердая рука протянула к небу. Очень дешевые дома. И голодные. Людоеды, готовые навсегда поглотить ближайшего эмигранта сломанной лестницей или прогнившим полом. Конечно, до отказа набитые ирландцами. И в то утро, когда я заканчивал свой восьмой круг,

а солнце из розового стало желтым, они выкрикнули мое имя.

– Тимоти Уайлд! Мистер Уайлд, неужели это вы?

Я, прикрытый широкополой шляпой, чуть вздрогнул. По краю лба метнулась волна боли.

– Преподобный Андерхилл, – ответил я и направился к нему.

– Это и вправду вы. Простите, но... Я даже не знаю, что и сказать. После того пожара все слова кажутся неуместными.

Преподобный Томас Андерхилл протянул мне руку, живое умное лицо было непривычно бледным. У него те же голубые глаза, что и у Мерси. Но его волосы, скорее каштановые, чем черные, поседели на висках, а лицо над простой одеждой священника стало заметно уже. У миссис Оливии Андерхилл, английской красавицы – она умерла в одну из эпидемий холеры, ухаживала за умирающими чужаками, – были такие же широко расставленные глаза, как у Мерси, и такая же ямочка на подбородке. Преподобный души в ней не чаял. А после ее смерти обратил все свое тепло на прихожан пресвитерианской церкви Пайн-стрит и на Мерси, и я не мог винить его за такой выбор. Он умелый, способный человек, целеустремленный взгляд, выразительные руки. Но что-то его здорово напугало. Он выглядел моложе своего возраста и потерянным в бурной толпе, продолжая одергивать бледно-желтый жилет, хотя тот уже сидел ровно.

– У меня все хорошо, – заявил я со всей непринужденностью; я чувствовал себя актером, который вышел не на ту сцену. – А как...

«Ваша дочь», – сказал бы я раньше, когда сильнее всего желал навсегда сменить ее фамилию.

– Мисс Андерхилл? – закончил я.

Сам не знаю, как я с этим справился. Что-то стянуло мне грудь, по венам скользнул холодный свинец.

– Она в добром здравии. Мистер Уайлд, я искал помощь, когда заметил вас. Не могли бы вы пойти со мной...

Он запнулся, заметив тусклый блеск моей медной звезды.

– Боже мой. Эта эмблема у вас на груди – вы полицейский?

– Если нет, то даже не знаю, кто.

– О, слава Небесам за такую чудесную встречу! Я навещал одного бедняка, который обратился к нам за благотворительной помощью, и когда выходил из дома, услышал, как в соседней квартире кричит младенец. Я несколько раз стучал в дверь, но она была заперта. Тогда я уперся в нее плечом как следует, но...

– Младенцы довольно часто кричат, – заметил я.

Но я еще ни разу со дня смерти жены не видел его настолько напуганным – на висках его выступил холодный пот, – так что я побежал по Энтони-стрит. Потом преподобный опередил меня и повел. Не прошло и десяти секунд, как мы стояли у старого кирпичного дома. Преподобный не остановился у входа, а направился в проулок между этим и соседним зданием.

В доходном доме было четыре этажа, над нашими головами висели десятки бельевых веревок, на которых болтался серпантин тряпья. Белье охранял маленький мальчик с прожаренным на солнце, сморщенным и пустым лицом. Но мы шли к внутреннему зданию. В своем бесконечном желании разместить потенциальных американцев владельцы недвижимости недавно начали возводить жилые здания во внутренних дворах уже существующих кирпичных домов. Обычно за жильем оставляли кусочек пустой земли, ради

воздуха, света и прочих излишеств. Но теперь хитрые владельцы ставили позади первого второе здание. До них приходилось добираться через узенькие щели, выходящие на улицу, а их окна выходили на стены и только на стены. Я обогнул обломки тележки и заросшую мхом воронку водосточной трубы. С каждым шагом земля становилась все грязнее. К концу мы на три дюйма ушли в содержимое переполненного уличного отхожего места и неглубокой сточной канавы.

Проход вывел нас в сырой дворик, устланный досками. У деревянного флигеля лежал на боку серый в пятнах пес, похрапывая на солнышке. Сразу за ним возвышалось второе здание. Деревянный трехэтажный дом, по которому уже бежали трещины. Обреченный стать адом еще до того, как его закончили строить. Мы поспешно пересекли мощный досками двор, ботинки выдавливали грязь из щелей.

Преподобный остановился только в затененном дверном проеме. На лестнице слева от нас нашла приют пара пьянчуг, всего лишь слабо посапывающая куча тряпок, провонявшая виски.

– Вон там, за площадкой, – кивнул преподобный, указывая в глубь цокольного этажа.

Дверь, о которой шла речь, действительно была крепче, чем казалась. Но вдвоем мы быстро справились с ней, и планки с треском разлетелись. И вот что мы там увидели.

За дверью была не комната, а каморка, вдоль одной стенки лежал тюфяк. Думаю, мой брат, раскинув руки, дотянулся бы до обеих стен. Невероятно чистая. На стуле сидела женщина в ветхом кружевном чепце, а может, и в паутине, и пришивала рукав к ситцевому платью. У ее ног лежали еще два или три десятка кусков дешевой ткани. Рыжие волосы оттенка тыквенной кожуры, веснушчатое лицо спокойно, хотя губы плотно сжаты. Она не подняла взгляда, когда дверь распахнулась и двое мужчин едва не рухнули прямо ей на колени. И я понял: что-то здесь очень неладно.

– Где ваш ребенок? – потребовал ответа преподобный, стараясь обуздать свою спешку. – Я слышал плач из этой комнаты. Он звучал... Где он?

Бег иглы замедлился, но не остановился, рыжие ресницы дернулись вверх. По моим прикидкам ей было около двадцати пяти, в Америке недавно – кончики пальцев сплошь покрыты незажившими царапинами от непривычного шитья. Похоже, она еще не оправилась от судовой кормежки – галет и порченого мяса. Судя по ее виду, она не видела свежих фруктов уже полгода, и вся она была такой же уязвимой, как открытая рана. И сидела молча, будто не понимала нас.

– Мэм, как вас зовут? – попытался я.

– Элайза Рафферти, – ответила она с густым акцентом.

– Я так понял, у вас есть ребенок? Где-то рядом?

Ореховые глаза скользнули вниз, к иголке.

– Нету у меня ребенка. Ошиблись вы.

– Нет? – возразил я, жестом прося преподобного не вспылить.

Сосредоточена она была как-то странно. Нерешительно. Будто зависшая в воздухе птица, которой некуда сесть. Никогда не видел такого взгляда, а уж я повидал с сотню разных на тысячах лиц.

– А чья детская одежда вон в той корзине? – спросил я, указывая в угол.

Ее подбородок вздрогнул, но лицо по-прежнему было маской. И не она изготовила эту маску. Наши слова ничего для нее не значили.

– Сдельно, – прошептала она. – Нету у меня ребенка, говорю вам. Только платья. Три

цента за шутку. Мистер Прендергаст, должно быть, зря послал, ошибся.

– Мадам, это смертный грех, лгать о...

– Думаю, она не лжет, – прошептал я.

Такое мастерство приобретаешь, когда много говоришь с людьми за жизнь. У лжи есть вкус, обтекаемый и сладкий, а здесь им и не пахло.

– Миссис Рафферти, вы слышали, как стучал преподобный? Он очень о вас беспокоился.

– Слышала. Я знаю его голос. Говорю вам, не стану я называть папу лжецом, и поносить его не стану. Хоть он и обещал мне в последний раз хороших сливок, а я на коленях просила, все равно не стану.

Я взглянул на преподобного Андерхилла, и он вздрогнул. У него был больной взгляд.

– Мои благотворительные возможности крайне ограничены. Я стыжусь этого, каждый день. Но сейчас у нас нет времени. Мы должны...

– Миссис Рафферти, для чего вам понадобились сливки? – спросил я.

– Для Айдана.

До нее дошли собственные слова, и покрасневшие глаза чуть расширились. Мы с преподобным мрачно переглянулись. Значит, младенец был, а в этой комнатке не спрятать и медного пенни. Я опустился на колено, чтобы миссис Рафферти могла получше разглядеть меня. Ее глаза уже здорово измучены работой при плохом свете. При таком количестве шитья не пройдет и десяти лет, как ей придется шить вслепую.

– После того, как преподобный постучал, но до нашего прихода, вы отсюда что-то вынесли, верно? – осторожно поинтересовался я. – Что же это было?

– Крыса, – прошептала она. – Они так кусаются ночью. Пролазят под половицами. Я бросила ее в раковину, вон там, в коридоре.

– А вам не было страшно, – продолжал я, живот скрутило спазмом, – взять ее и вынести?

– Нет, – ответила она; ее губы дрожали, как крылья мотылька. – Она уже умерла.

Я в отчаянии посмотрел на преподобного. Но он уже бежал на площадку.

«Она испугалась, – с тупой настойчивостью думал я, поднявшись на ноги. – Она забыла о ребенке, когда выбрасывала крысу. Да. Да, крыса в раковине, а ребенок наверняка в какой-нибудь корзинке рядом, и она так растерялась, что вернулась в комнату без... Айдан, вот его имя. Айдан Рафферти сидит в корзинке на площадке».

Преподобный издал какой-то звук, заглушенный темным рукавом. Силуэт в дальнем конце коридора, очерченный светом из единственного окошка над грязной общей раковиной. Я наблюдал, как мои ноги обходят куриный помет; курицы забредали сюда со двора. Я вновь видел все фрагментами, обрывками. Раковина раньше была дешевым деревянным тазом, а сейчас – пристанищем для нескольких жужжащих мух, потревоженных преподобным Андерхиллом.

– Нам нужно сходить за доктором, – тупо сказал я, не глядя в раковину.

Я мог это исправить, мне нужно было это исправить.

– Нам срочно нужно привести доктора.

– Доктору тут нечего делать, – ответил преподобный.

Ему удалось взять себя в руки. Но лицо его было белее мела. Белое, но пылающее, белое, как сияние славы Господней.

– Ей понадобится священник.

Сотни раз с того дня я спрашивал себя, почему именно эта смерть так врезалась мне в

голову. Смерть, как говорится, дело обыденное. А смерть ребенка – еще обыденней. Дети уязвимы для любой жестокости, и не будь у меня собственного детства, я бы не поверил, что они вообще способны выжить. Допустим, родители их любят. Тогда они все равно игрушки в руках болезней и несчастных случаев, священный огонек их жизни колеблется, как фондовый рынок. Допустим, родители их не любят. Тогда их слишком рано выпускают в мир и заставляют продавать на Бродвее кукурузные початки за пенни. Или жестокая необходимость затягивает их в намного худшие занятия. Или они исчезают. Рассеиваются, как запах на ветру.

Допустим, их родители умерли, когда они еще были птенчиками.

Я знал, каково это. Пусть и неохотно, но я понимал, что для меня все могло быть намного хуже. Не будь Вал рядом в дни нашей сиротской юности, меня бы донимали намного меньше. Пока я не упокоился бы в неглубокой могиле, не в одну зиму, так в другую. Глубоко в душе я принимал этот дар, и в те дни, когда совсем уже собирался отправиться в Мексику, где нет никакого Валентайна Уайлда, напоминал себе о нем. И оставался. Несмотря ни на что.

Нет, меня потрясла не смерть птенчика. Да и в детоубийстве, к сожалению, нет ничего нового. Представьте самое ужасное, чему не должно быть места на земле, и оно выступит на нью-йоркской сцене под аплодисменты, а потом выйдет на бис столько раз, сколько вам и не поверится.

Но тут, постепенно осознавал я, суть в другом. Неделю назад миссис Рафферти молила преподобного о сливках для Айдана. Желала, нуждалась, надеялась накормить голодного младенца. Сострадая каждому вздоху, каждому биению сердца своего сына. Она стояла на коленях, вымаливая кроху благотворительности, и отступила только в минуту, когда увидела угрозу своему посмертию. Она сочла вечность с ребенком дороже трехдневного запаса молока.

И сегодня – ни сливок, ни лимонного сока, чтобы прочистить голову, и чертово окошко, Бог знает, в чем она сильнее всего нуждалась – мальчик превратился в крысу. Миссис Рафферти, все еще держа иголку, выглянула из дверей своей каморки. Ее пальцы начали трястись.

– Мертвая, – сказала она. – Я тоже их боюсь, но она уже мертвая, а вы взрослые мужчины. Чего вы так перепугались? Стыдно так пугаться, говорю вам. Просто крыса.

– Помилуй тебя Господь, – прошептал преподобный, его голос окаймлял огонь.

Так я совершил восьмой арест в своей новой карьере.

Двенадцать часов спустя я сидел в Гробницах, за исцарапанным столом в одном из кабинетов, и держал в руке гусиное перо с намеком на черное опахало. Смотрел на лежащую передо мной бумагу. Но не писал. К тому времени мне хотелось скорчиться от боли в углу. Это могло бы, по крайней мере, провести границу, доказать способность к движению, а то и уменьшить тошноту. Я был не в силах оторваться от созерцания бумаги или начать писать даже ради спасения собственной жизни.

Вместо этого я думал о преподобном. Чувствует ли он себя лучше, чем я. Преподобный, который в одиннадцать лет ушел из безрадостного покосившегося домика в массачусетских лесах, чтобы заработать себе на хлеб в море. Щепетильный, много повидавший человек, известный во всем городе как бесстрашный протестант с жадным и требовательным умом. Его прихожане считали его пастухом, который удерживает их на пути благочестия. Он и вправду был именно таким. В молодости, когда он проповедовал, преподобный был

аболиционистом^[17], поскольку сама идея рабства возмущала его чувство логики. Он сам называл это справедливостью, но на самом деле имел в виду логику. Иногда мне казалось, он сражается с бедностью просто потому, что неравенство оскорбляет его своей неэстетичностью. На слух кажется слабоватой причиной, но видели бы вы, как он режет апельсин, будто гранит алмаз.

Последний раз я видел его таким бледным после смерти Оливии Андерхилл. Преподобный обожал свою жену, уж я-то знаю, что такое обожание. В день кончины он уложил ее в могилу – сморщенное, неузнаваемое тело – и на три дня заперся в своем кабинете. Ничьи мольбы, даже четырнадцатилетней Мерси, не могли заставить его выйти. Наконец, когда Вал уже подумывал окрестить свой новый набор отмычек, дверь открылась, и Томас Андерхилл поцеловал плачущую дочь, прижал ее к себе, погладил по голове и заявил, что крыша маленького флигеля церкви на Пайн-стрит давно требует ремонта, и он намерен заняться этим. Он вышел из комнаты, не оглядываясь, а мой брат, Мерси и я тупо смотрели ему вслед. Мерси не нашла в кабинете ничего объясняющего, что же он делал там целых три дня, пока, месяц спустя, не обнаружила: каждая страница обширной коллекции книг ее матери была обведена черными чернилами. Тысячи и тысячи траурных полос, окаймлявших бумагу.

Нет, сейчас преподобный чувствовал себя ничуть, ни на грош лучше, чем я. Сливки повисли на нем тяжким грузом.

Послышались шаги. Я выглянул из-под полей своей шляпы. Мистер Пист, его единственный за дежурство перерыв на кофе. Но он нес в руках не одну, а пару оловянных чашек. Развевающиеся седые кудри взметнулись, когда он поставил вторую чашку передо мной.

– Патриот, я вас приветствую, – серьезно заявил мистер Пист.

Уходя с глухим топотом голландских ботинок, он добавил:

– Со временем, мистер Уайлд, вы привыкнете.

«Это полное дерьмо», – мысленно рявкнул я.

Но когда я глотнул маслянистого кофе – ароматного, намного лучше, чем следовало, – то смог приложить перо к бумаге.

Отчет полицейского Т. Уайлда, Округ 6, Район 1, звезда номер 107. По подозрению, высказанному преподобным Томасом Андерхиллом, проживающим в доме № 3 по Пайн-стрит, в восемь утра вошел в дом № 12 по Энтони-стрит. Войдя во внутреннее строение, первый этаж, обнаружил проживающую там миссис Элайзу Рафферти в состоянии серьезного расстройства. Младенец Айдан Рафферти пропал из комнаты. Мать, заявившая, что ее мучают крысы, привела нас к раковине в задней части этого здания, куда был помещен младенец.

Арестовал миссис Рафферти, которая продолжала выказывать непонимание происходящего, хотя к этому времени была еще более эмоционально неустойчива. Немедленно отправил за помощью преподобного Андерхилла. Первыми на место преступления прибыли патрульные Йорк и Паттерсон, которые вызвали coronera. Сопроводил миссис Рафферти в женское крыло Гробниц, где она была заключена под стражу под номером 23 398 и ожидает допроса.

Я остановился и посмотрел на свою писанину. Читать можно. Какое мерзкое дело. Оно

скручивало желудок узлами и, в какой-то степени, отражалось даже в буквах. Да, отчет должен быть разборчивым, но не хочется мне становиться человеком, который способен описать это аккуратным почерком.

Официальный отчет coronера об исследовании тела Айдана Рафферти, примерно шести месяцев от роду, ожидается; следы на шее ясно свидетельствуют, что наиболее вероятной причиной смерти является удушение.

Мои записи смотрели на меня монументом беспристрастности. Отвратительно. Когда я увидел, насколько у меня вышел отстраненный и сухой приговор, я сорвал проклятую звезду и со всей силы швырнул ее в побеленную стену.

В ту ночь я шел домой под пылающими августовскими звездами с медной звездой в кармане и думал, чем же мне отплатить брату за такой день. Я упорно размышлял, вновь и вновь повторяя «Пусть Бог проклянет Валентайна Уайлда», пока не дошел до Элизабет-стрит и пекарни миссис Боэм.

И тут прямо в мои колени врезалось что-то мягкое и отчаянное.

Я схватил ребенка за руки еще до того, как осознал: я столкнулся с маленькой девочкой. И это неплохо, поскольку она тянулась рукой к локону, который выбился из узла, и от удара могла грохнуться на булыжники. Когда я поставил ее прямо, она посмотрела на меня, как с палубы судна посреди реки. Ни там. Ни здесь. Между.

Потом я заметил, что на ней ночная рубашка, испачканная то ли смолой, то ли кровью. Пропитанная насквозь.

– Господи, – пробормотал я. – Тебе больно?

Она не ответила, но ее квадратное лицо было занято чем-то иным, не словами. Похоже, она пыталась не заплакать.

Возможно, профессиональный полицейский, вроде лондонских, отправился бы прямиком в Гробницы и передал девочку для допроса, даже не находясь на дежурстве. Возможно. А может, профессиональный полицейский бросился бы за доктором. Не знаю. Сейчас уже каждому ясно, что в Нью-Йорке маловато профессиональных полицейских. Но даже если бы они и были, я покончил с ними раз и навсегда. К этому времени Айдана Рафферти уже похоронили, его мать тоже в каком-то смысле похоронена в Гробницах. Я человек, привыкший за денежки разливать по стаканам джин, а «медные звезды» пусть горят синим пламенем.

– Пойдем со мной, – сказал я. – С тобой все будет хорошо.

Я осторожно поднял ее. С девочкой на руках я не мог добраться до своего ключа. Но по случаю миссис Боэм заметила меня в окно и вышла на порог. Халат туго затянут вокруг костлявого тела, лицо – образчик чистейшего удивления.

– Господи Боже, – выдохнула она.

Миссис Боэм метнулась к очагу рядом с печами и принялась яростно шуровать в нем, пока я входил с обмякшим птенчиком, а потом потянулась к ведру, набрать воды из колонки.

– В том углу есть тряпки, – бросила она, вылетая за дверь. – Чистые, для выпечки.

Я пристроил девочку на измазанную мукой скамейку. Миссис Боэм оставила лампу на широком столе для раскатывания теста: луна яркая, а колонка рядом с домом. Теперь я видел: огромное пятно на рубашке девочки – не что иное, как кровь.

Ее серые глаза нервно метались, и усадив ее, я немного отступил. Сходил за чистыми тряпками и вернулся, прихватив с собой несколько кусков мягкого хлопка.

– Можешь сказать, где болит? – тихо спросил я.

Ответа нет. Мне пришла в голову мысль.

– Ты говоришь по-английски?

Этот вопрос чуть тронул ее, и губы насмешливо скривились:

– А как еще я могу говорить?

Чистый английский. Нет, поправил я себя, он звучит чистым для моих ушей. Нью-Йоркский английский.

Ее руки начали дрожать. Миссис Боэм широким шагом вернулась и принялась греть воду. Что-то бормоча под нос, она зажгла еще две лампы, и пекарню омыл карамельный свет. Теперь я мог лучше разглядеть девочку и заметил кое-что странное.

– Миссис Боэм, – позвал я.

Медленно и осторожно мы сняли с девочки рубашку. Она не возражала. Не шевелилась, не пыталась нам помочь. Когда миссис Боэм, схватив теплую влажную тряпку, обтерла веснушчатую кожу ребенка, я понял, что инстинкт меня не обманул.

– Она вообще не ранена, – изумленно произнес я. – Смотрите. Все платье в крови, а на ней ни царапины.

– Они разрежут его на части, – прошептала девочка, в ее глазах стояли слезы.

А потом я, переплетаясь руками с миссис Боэм, поймал ее во второй раз. Она упала в глубокий обморок.

Когда эта болезнь нападает на картофель, в первую очередь становится заметно, как клубни сохнут или сморщиваются... В последнее время многие наши корреспонденты жалуются на картофель, и, в ряде случаев, у нас практически нет сомнений, что он страдает от той самой болезни, которую мы описали выше.

Сельскохозяйственный и садоводческий вестник, 16 марта 1844 года, Лондон

Миссис Боэм взяла на себя труд стереть всю кровь с бедной девочки, в то время как я придерживал ее ноги и руки. Потом миссис Боэм отыскала старую блузку, надела ее на ребенка, застегнула пуговицы, вытащила все заколки из темно-каштановых волос и уложила девочку на небольшую кроватку, выдвинутую из ее собственной кровати. Во всей этой неразберихе она действовала на удивление методично, за что я был очень признателен. Когда миссис Боэм вышла из своей спальни на втором этаже, я поднимался ей навстречу, держа в руке тарелку с нарезанным вчерашним хлебом, парой кусков ветчины и толикой сыра, который я отыскивал в горшочке с рассолом.

– Я за все заплачу, каждый цент, – сказал я, пытаюсь говорить вежливо; думаю, мой голос скорее был больным. – Думаю, вы могли бы составить мне компанию.

– Погодите, – приказала она и вновь нырнула в комнату.

Она вернулась с куском вощенной бумаги, в такую обычно заворачивают шоколад.

Мы поставили на стол тарелки и пару сальных свечей и погасили лампы, сберегая масло. Миссис Боэм исчезла и появилась с кувшином столового пива, которое разлила в две кружки. Я заметил, что она слишком пристально, даже по ее меркам, смотрит на меня, и спустя секунду услужливо скинул шляпу. Такое чувство, будто я снял нижнее белье. Как-то... непристойно.

– Пожар в центре? – мягко спросила она. – Или несчастный случай?

– Пожар в центре. Не важно.

Она кивнула, уголки широкого рта подергивались.

– Скажите-ка. Девочка ведь была снаружи, на улице, и вы решили принести ее в дом?

– Вы против? – удивленно спросил я.

– Нет. Но вы же полицейский.

Ясно, о чем речь. Что это за полиция, если она не несет покрытую кровью девочку в ближайший участок и не выясняет, что с ней случилось? Я кивнул. Я очень остро ощущал шесть дюймов своей кожи с той секунды, как снял шляпу. Даже не замечал, как сильно я на нее полагаюсь. Однако же вряд ли я могу признаться своей квартирной хозяйке, что бросил единственный источник постоянного дохода.

– Когда бедный птенчик проснется, мы выясним, в чем дело – где она живет и откуда эта кровь. Нету смысла тащить ее в участок спящей.

Здорово проголодавшись, я взял хлеб и оторвал кусок сыра. Миссис Боэм вытащила из кармана сигарету и прикурила ее от свечки. Блеснули тускло-пшеничные волосы, и вновь конус света на столе. Я заметил альманах, раскрытый на странице с рассказом из очень

популярной серии «Свет и тени улиц Нью-Йорка», и мысленно улыбнулся. Остро написанная подборка, равно лиричная и зловещая, вдобавок автор при каждом удобном случае вставляет намеки на секс. Видимо, потому он и подписывается «Аноним». Чем лучше я узнавал свою квартирную хозяйку, тем больше она мне нравилась. Тем временем она заметила, что я читаю вверх ногами, слегка покраснела и закрыла альманах.

– Такие дети – одни неприятности, – с сожалением заметила она.

– Ирландские дети?

Ничего удивительного, если она так считает. Даже если девочка говорит как американка, ее волосы и кожа, крапчатая, как яйцо бекаса, говорят о ее происхождении. Живя в Шестом округе, миссис Боэм достаточно на них насмотрелась, и временами от них и вправду бывают неприятности. Их часто выучивают считать мифом частную собственность.

– Не ирландские.

– Беглецы?

Я был озадачен. Неужели миссис Боэм не побежит, если окажется в крови с головы до ног?

Миссис Боэм покачала головой, костлявые руки сложены на груди, во рту сигарета.

– Не беглецы. Вы не заметили.

– Чего не заметил?

– Она... как это называется? Птенчик, так вы сказали. Птенчик-мэб. Малышка – птенчик-мэб.

Хлеб застрял у меня в горле. Я глотнул домашнего пива миссис Боэм, поставил вспотевшую кружку и облокотился на стол, осторожно держась рукой за лоб. Неужели я ослеп? Пусть даже я устал, проголодался, на целых три мили за гранью ужаса, но это все равно не оправдание.

– Прическа, – пробормотал я. – Ну конечно, ее прическа.

Широкий рот миссис Боэм изогнулся в мрачной улыбке.

– Вы смотрите на людей вблизи. Да, ее прическа.

– Может, случайность.

Я откинулся назад, вода пальцами по грубой столешнице.

– Может, она крутилась днем рядом со старшей сестрой.

Миссис Боэм пожалала плечами. Это движение весило не меньше тщательно выверенного аргумента.

Ибо кто в здравом уме уложит волосы девочки в прическу, которую носят женщины после восемнадцати, а потом выпустит ее босой на улицу? Взрослые шлюхи, как правило, распускали волосы, стараясь выглядеть как можно моложе. Выставляются в открытых до пупка легких рубашках, а выжженные, ломкие локоны выются следом, как пучки хвороста. Надеются хотя бы на видимость сброшенных лет, в обмен на право получить удар ножа, дубинки или любого другого орудия, известного человеку. А вот с детьми все наоборот. Птенчиков-мэб чаще всего прячут за дверями. Но когда они выходят на улицу, то раскрашены, как крошечные женщины из общества. Волосы заколоты, как у красавиц с мрачного миниатюрного бала.

– Вы думаете, что она сбежала из дома терпимости, – произнес я. – Если так, ее может принять церковный приют. А если она не захочет, то вернется на улицы. Но пока у меня есть право голоса, в Приют она не попадет.

Приютом называли пристанище для сирот, полусирот, бродяг и детей-преступников, к

северу от основной части города, на углу Двадцать пятой стрит и Пятой авеню. Приют предназначался для того, чтобы убрать бездомных птенчиков с улиц, где они у всех на виду, и направить на путь просвещения за крепко запертыми воротами, где их никто не увидит. Главной загвоздкой было не столько просвещение, сколько угроза самодовольству высшего общества Нью-Йорка, которому претил вид голодающих шестилеток, ютящихся в сточных канавах. Так уж повелось, что меня не слишком впечатляли указания влиятельных кругов общества.

Миссис Боэм, кивнув в знак согласия, оперлась грудью о деревяшку, развернула вощеную бумагу и, достав оттуда темный шоколад, отломала кусочек. Она задумчиво прожевала его и толкнула маленькое сокровище в мою сторону.

– Как вы думаете, о чем она говорила «они разрежут его на части»? – спросил я.

– Наверное, какое-то животное. Ходит на задний двор, у нее там любимая свинка, свинью забили, девочка убегает. Кровь от забоя, я так думаю. Корова... Или пони сломал ногу, и его продали на клей. Да, наверное, любимый пони. Конечно, его разорвут на куски. Завтра мы все узнаем.

Миссис Боэм встала и подняла свечку.

– Завтра у меня только половина смены, – солгал я дружелюбной костлявой спине, прикрытой халатом. – Вы можете меня не будить.

– Хорошо. Я рада, что вы полицейский. Нам нужна полиция, – задумчиво сказала она, забирая свой альманах, потом помешкала и добавила: – Надеюсь, это и вправду был только пони.

Практичная женщина миссис Боэм, сказал я себе. И она права: кровь могла взяться откуда угодно. Пони или сбитая повозкой собака, которую тут же облепили крысы. Я чуть расслабился.

Но от мысли о крысах меня снова затошнило, и я бездумно усталился на трещину в штукатурке. Интересно, думал я, поднимаясь со свечой в свою комнату, во что мне обойдется вернуть прежнего себя после эдакого дня.

Следующим утром, когда я пробудился от мертвого сна, меня изучала пара серых глаз.

Я усталился на них, ничего не понимая. Еще в постели, а уже выбит из колеи. Из окна струился солнечный свет, такого моим утром еще не бывало. Мой соломенный тюфяк все еще лежал у стенки, поскольку одна только мысль о сне в крошечной камерке угнетала меня сверх всяких слов, и я был слишком потрясен предыдущим днем, чтобы счесть себя интересной компанией. Однако вот он я. Лежу в коротком, выше колен, исподнем на завязках, а к моей груди прижимаются огромные пепельно-серые ирисы.

На девочке была длинная блузка, которую минувшим вечером натянула на нее миссис Боэм. Блузка доходила до середины бедер, а под ней виднелись мальчишеские хлопковые портки. Интересно, подумал я. Ее палисандровые волосы были распущены и завязаны куском бечевки.

– Что ты здесь делаешь? – спросил я.

– Смотрю ваши картины. Они мне нравятся.

В комнате не было никаких картин, но я понял, до чего она добралась. Еще с тех пор, как я был маленьким птенчиком, я корябал рисунки на любом клочке бумаги, когда моя голова нуждалась в отдыхе. И каждый день вплоть до начала службы в полиции я что-нибудь рисовал. От жары лицо горело, и мне не хотелось встречаться с людьми. Я сел на омнибус

линии Мэдисон, доехал до северной границы города, до Булл-Хэд-Виллидж на Третьей и Двадцать четвертой, куда съехали из Бауэри все загоны, скотные дворы и мясники. Тут пахло свежей смертью, повсюду кричали животные. Но у них за бесценок продавалась тонкая оберточная бумага, и я купил довольно приличный рулон. Потом я прихватил мешок и набил его углем из заброшенной жаровни у соседнего овечьего загона.

Увертки. Я знаю, как выкручиваться.

– Ты должна выйти, чтобы я мог одеться.

– Вот эта.

Она подошла к коричневой полоске, прикрепленной к стене. На рисунке Вильямсбургский паром выходил из Пек-слип под низким грозовым небом июля. Именно так, как мне нравилось представлять речные путешествия, как они все еще звучали в моих мыслях – судно режет широкие спокойные воды, за секунду до столкновения солнечного света и дождя.

– Эта мне особенно нравится. Просто блеск. Как вы выучились?

– Дай мне рубашку, – скомандовал я. – Вон ту, за умывальником.

Она с улыбкой принесла рубашку. Улыбка искренняя, подумал я, но целей у нее две: подлинное обаяние, которое скрывает расчет. Как я отвечу на простое дружелюбие? Понравится ли оно мне? Я мерил людей по себе, но у меня больше опыта. Я мысленно покачал головой. Восемь часов назад девочка вымокла в крови, один Бог знает, что с ней случилось до того, а я беспокоюсь об одежде.

– Меня зовут Тимоти Уайлд. А тебя как?

– Все зовут меня Маленькой Птичкой, – ответила она, дернув плечиком. – Птичкой Дейли. Но если хочешь, я могу сказать тебе настоящее имя.

Я сказал «конечно, продолжай», натягивая рубашку и смиренно размышляя, как же мне заполучить свои брюки.

– Авлин О’Дели. Я не привыкла правильно его выговаривать, и я зову себя Птичкой, потому что Птичка проще. Но это значит в точности одно и то же, только языки разные, поэтому Птичка ничуть не хуже того имени, вот как я думаю. А вы как думаете?

«Брюки», – думал я. У меня было две пары, и ни разу еще они не казались мне такой важной вещью. Наконец моя босая нога нащупала гладкую шерсть, и я со всей возможной скоростью натянул их.

Сейчас Птичка смотрела на большой набросок с коттеджем посреди леса. Дом пылал, лес вокруг почернел, обуглился. Брошенные земли, фантастический ландшафт. И от всего рисунка разило гарью. В конце концов, я сделал его сгоревшим деревом. Откуда бы она ни вылезла, она уже видела рисунки. Ее взгляд сравнивал новые картины с теми, на которые она смотрела прежде. Значит, не Пять Углов^[18], чернейшая из наших дыр, и не соленая вода Ист-Ривер. Хорошая кормежка, дорогая одежда и критический взгляд на наброски углем.

– Нам нужно поговорить про вчера, – мягко предложил я. – О том, что с тобой стряслось, о твоей ночной рубашке и о том месте, откуда ты убежала.

– Вы нарисовали этот, когда были моложе? Он не похож на другие.

– Нет, они все довольно свежие. Пойдем, поищем миссис Бозм, будем пить чай, а ты расскажешь, чего ты так напугалась вчера вечером.

Птичка задержалась у другого участка покрытого бумагой стены и нахмурилась. Простой портрет бледной женщины с черными локонами и аурой ученого, рука щиплет ямочку на подбородке, взгляд отстраненный. Мерси, пойманная в минуту задумчивости.

– Она вам нравится, – мрачновато объявила Птичка. – Наверное, вы много раз ее целовали, да?

– Я... на самом деле, нет. Почему...

Разглядывая эскиз, я осознал, что чувства, которые художник испытывает к модели, очевидны даже для десятилетки. Тем временем лицо Птички плавно преобразилось, задумчивость сменилась согласием, уступчивостью, стирая все следы совершенной ошибки.

– Не всем нравится целоваться. Может, и вам не нравится? Все равно, если она вам нравится, мне она тоже будет нравиться. Раз уж вы принесли меня в дом и вообще.

– Ты ее не увидишь. Правда, она... восхитительная леди.

– Она ваша любовница?

– Нет. Нет. Послушай, нам нужно поговорить о многом, и о том, где ты жила раньше. Они могут захотеть вернуть тебя, но если они не заслуживают твоего возвращения, тогда мы подыщем тебе новое место.

Птичка моргнула. Потом снова улыбнулась, и впервые – спокойно.

– Я не хочу об этом говорить, – призналась она. – Но если вы хотите, мистер Уайлд, я попробую. Думаю, я теперь вставляю вместе с вами, ну, вы понимаете. Так что я постараюсь.

– Скажи-ка мне, – очень ласково спросила миссис Боэм, – что вчера вечером случилось с твоей ночной рубашкой?

Птичка сидела на широком пекарском столе с чашкой подогретого смородинового вина, в которое добавили воды и кусок сахара, и смотрела на струйки пара. Ее лицо вспыхнуло, потом вновь побледнело. Я припомнил, как давным-давно отец спросил меня, отполировал ли я хомуты китовым жиром. Тогда я внезапно пришел в ужас, поскольку ничего не сделал, но тут заметил, как Вал успокоительно подмигивает мне из угла комнаты, даруя нечастое спасение. Сейчас во взгляде Птички мелькнула точно такая же, перехватывающая дыхание, вспышка паники.

– Это очень симпатичная ночная рубашка, – заметил я из кресла в углу комнаты.

Комплимент накатила на Птичку, и ее брови чуть дрогнули. Неприятное напоминание: некоторые дети жрут похвалу, как пряники, но Птичка Дейли, вероятно, была объектом лести. И, хуже того, ругательств.

– Она вправду мне идет, но сейчас она, наверное, испорчена. Мне нравится ваша шляпа, – проникательно заметила Птичка. – Она вам тоже идет.

Когда до меня дошло, что она говорит, как взрослая, поскольку девять десятых своего времени проводила со взрослыми мужчинами, которые сорили монетами в ее обществе, я не успел сдержаться, и мое лицо потемнело. В ту минуту я решил, что не буду разговаривать с Птичкой, как с птенчиком, с высоты своих двадцати семи и бывшей службы в полиции. Если тебя обходят в разговоре, поскольку ты недостаточно умен, это почти бодрит. Но если тебя обходят, поскольку ты неверно оценил собеседника, это здорово смущает.

– Я знаю, ты испугалась, – сказал я, – потому что увидела вчера что-то страшное. Но если ты не расскажешь нам, в чем дело, мы не сможем никому помочь.

– Где ты живешь, Птичка? – тихо вставила миссис Боэм.

Пухлые губы девчонки неохотно дернулись. Я мельком, отстраненно, как при взгляде на розовый куст, подумал, что она красива. И тут мне вновь пришлось сразиться с желудком; эта борьба начинала утомлять.

– В доме к западу от Бродвея, с моей семьей, – просто ответила она. – Но я больше

никогда его не увижу.

– Продолжай, – сказал я. – Мы не собираемся тебя ругать, пока ты говоришь нам правду.

Серьезные губы-почки снова вздрогнули, а потом из них хлынули слова. Мокрые, будто плач. Хотя без явных слез.

– Я не могу. Не могу. Отец приехал и порезал ее ножиком. Он бы и меня порезал, но я убежала, хотя уже шла в кровать.

Я посмотрел на миссис Боэм, но ее затуманенные синие глаза были прикованы к Птичке.

– Кого он порезал? – мрачно спросил я.

– Мою мать, – прошептала Птичка. – Он порезал ей все лицо. Она несла меня в постель, и всюду была кровь. Он сходит с ума, когда нальется соком, но раньше пускал в ход только кулаки. Или трость. Но нож – никогда. Мать выронила меня и сказала бежать, сказала никогда не возвращаться, потому что он будет винить меня за лишние расходы на еду и тряпки.

Она умолкла и дрожащим пальчиком потерла край чашки. Ее взгляд не отрывался от крошечного скола на фарфоре.

И я задумался, крепко задумался.

Картинка неприятная, но вполне возможная. Виски ежедневно опустошал бессчетные семьи. «Матерь Божья, – как-то сказал мне домовитый мужчина из Слайго с крепкими руками, когда пил у «Ника», – я напишу брату и прямо так и скажу – нечего сюда приезжать. Может, дома мало еды, зато виски дорог». То есть все это вполне возможно.

Потом я задумался о ее прическе. И еще, подумал я, какой ирландский ребенок станет называть свою маму *матерью*. Прямо ли, косвенно. Моя мать выронила меня. Не мама выронила меня и сказала бежать.

– Мне кажется, тебе следует рассказать нам, что случилось на самом деле, – предложил я.

Птичка казалась потрясенной, ее губы округлились, и в эту минуту я осознал: она действительно хорошая лгунья. Только хороших лжецов удивляет, когда их ловят. Да и в любом случае нужно быть хорошим лжецом, чтобы заниматься ее родом работы.

– Я не могу, – дрожащим голосом ответила она. – Вы рассердитесь. А миссис Боэм говорит, вы полицейский.

– Чепуха, – неодобрительно промолвила миссис Боэм. – Расскажи, что случилось на самом деле. Мистер Уайлд – хороший человек.

– Я не думала, что так выйдет, – прошептала Птичка; прерывистый голос, палец уперся в стол.

– Что выйдет, дорогая?

– Все, – прошептала она. – Но он... он, наверное, был пьян, все время прикладывался к фляжке и спрашивал, не хочу ли я попробовать. И я сказала «нет», и тогда он полил мою подушку и сказал, я привыкну, и я подумала, он сошел с ума. У него была коробка с люциферами, и он все время их зажигал. Одного за другим. Он сказал, они похожи на мои волосы, и поднес один прямо мне к лицу, и я сказала, чтобы он убрал его, что он уже... уже заплатил мне. Да. Но он не стал, и толкнул меня на подушку, и сунул туда зажженную спичку. Он хотел меня поджечь. Я начала кричать и толкнула его, изо всех сил. Он... он упал на пол. У него был ножик на поясе... но я не знала, Богом клянусь, я не знала. Он порезал спину, а потом схватил меня и заляпал кровью мою рубашку. Они услышали, как я кричу, и

прибежали в комнату, и тогда мне как-то удалось сбежать. Он не умер, клянусь вам, и я не хотела. Он пытался сжечь меня.

Птичка умолкла, и миссис Боэм мягко провела рукой по ее запястью. Потому что этот рассказ, подумал я, может быть только правдой. Птенчик не станет изобретать такие странные подробности.

Налить виски в подушку, а потом поджечь волосы девочки.

Все это определено было. Но она здесь по другой причине.

– Птичка, мне жаль это слышать, – сказал я. – Но если человек получил ножевую рану, даже случайно, он поднимет жуткий шум. Нам нужно знать, действительно ли кто-то был ранен. Мне нужно отвести тебя в участок.

Яростный рывок, и чашка с подслащенным вином разбилась о стену. А в следующую секунду перепуганная Птичка смотрела на свою правую руку так, будто та принадлежала кому-то другому. Быстро моргая, она коснулась правой руки левой.

– Пожалуйста, не надо. Позвольте мне остаться здесь, пожалуйста, позвольте, – молила она в странном ритме. – Все хорошо. Не беспокойтесь. Никто не ранен.

– Но ты сказала...

– Я солгала! Пожалуйста, я солгала, но... но вы же не думаете, что я захочу рассказать о том месте, где я вправду живу? Позвольте мне остаться здесь, я не могу вернуться. Они жутко разозлятся на меня. Я заплачу за чашку, я всегда плачу, когда вещи ломаются. Пожалуйста...

– Расскажи нам, – перебил я, – но только правду.

Нижняя губа Птички задрожала, но она вздернула подбородок.

– Я больше не могу там жить, – сказала она ровным тоном. – Я устала, понимаете. Я страшно устала, а они не давали мне спать. Она говорит, это потому, что я всем нравлюсь, но... я не могу, да. Без сна ужасно плохо. Вчера вечером я взяла с собой несколько даймов, я прятала их внизу. Внизу, где цыплята. Я заплатила мальчишке, который режет кур, за кровь, сказала, хочу попробовать заколдовать кое-кого. Мы собрали ее в ведро в куриной загородке, я взяла ночную рубашку и замочила ее в крови. Когда я удрала, я думала, они погонятся за мной или отправят меня в Приют, но... я вся в крови, я могу сказать, что бежала от убийц из доков. И кто угодно мне поверит. Увидит кровь и позволит остаться у него.

Птичка задохнулась, переводя взгляд с меня на миссис Боэм и обратно. Как загнанная в угол козочка. Надежда царапала ее изнутри нежными когтями, давила на ребра.

– Но вы же разрешите мне остаться с вами. Ведь правда разрешите?

Направляясь в Гробницы со значком в руке и звенящей на губах отставкой, я обдумывал, как же объяснить десятилетней звездочке, что она не может поселиться с нами. Тогда я промолчал. И миссис Боэм тоже ограничилась печальным кудахтаньем. В любом случае, независимо от наших симпатий, в доме все равно не было лишней комнаты.

Однако, достигнув мрачного и сурового здания, я обнаружил на парадном крыльце своего брата Валентайна, беседующего с внушительным Джорджем Вашингтоном Мэтселлом. Даже Вал почтительно слушал озабоченного Мэтселла. Он достал руки из карманов, только заложил широкий палец за жилетку, по которой сплошь цвели ландыши. Эта поза говорила о многом.

– Капитан Уайлд, – сказал я. – Добрый день, шеф Мэтселл.

– Где, во имя Господа, вы были все утро? – спросил он, едва завидев меня.

– Встретил окровавленную девочку, пришлось позаботиться о ней. Не важно, все равно

ни к чему не привело. Как вы поживаете, сэр?

– Не очень, – ответил он.

Валентайн рассеянно потер губы.

– Почему же? – спросил я, сжимая свою звезду в предвкушении, как я швырну ее прямо в лицо брата.

– Потому что мы нашли скопытившегося птенчика на Мерсер-стрит, в моем округе, – ответил Вал. – Одежды сан, весь разделанный, увидишь – срубишь весь завтрак на пол. Клёвый маленький пацан был. Симпатичный такой, как их делают. Мы стараемся приберечь эдакие новости, но проще сказать, чем... а где, дьявол тебя раздери, твоя медная звезда, юный Джек Денди?

К своему собственному величайшему удивлению, когда я достал звезду из кармана, я не швырнул ее брату в лицо. Я прицепил ее на место.

Все гонения, которым истинная Церковь подвергалась со стороны язычников, евреев и всего мира, ничто в сравнении с теми, которые она переживает от неумолимой жестокости самого ненасытного убийцы людей.

О папе, от Оранжевского общества протестантской реформации, 1843 год

В то утро я так и не вернулся к своему патрулированию. Мэтселл отправил меня с Валом в новое здание полицейского участка Восьмого округа, на углу Принс и Вустер-стрит. Конечно, я яростно отстаивал свою линию. Тем временем разошлись слухи о моей находке Айдана Рафферти, и это наверняка было принято к сведению. Полагаю, шеф решил не давить на потрясенного недавнего рекрута, поскольку тело младенца занимает одну из первых строчек в списке наихудших способов провести утро, даже в Нью-Йорке. О чем Валентайн, с присущим ему беспредельным тактом, напомнил мне, пока мы рысили на север в наемной повозке.

– Слышал о том задушенном ирландском крохотуле. Небось тебе здорово захотелось свалить, а? – спросил он, сложив руки на набалдашнике трости и небрежно расставив ноги, насколько это возможно в двухколесном экипаже.

Молодое лицо Вала стягивало раздражение, вечные мешки под глазами заметно припухли.

– Веселенькое бы время ты мне обеспечил, Тим. Я обещал Мэтселлу, что ты будешь на высоте.

– Не припомню, чтобы я просил тебя о чем-то таком.

– Ничего, пустяки. Не будь такой язвой.

Мой взгляд лениво прошелся по рукам брата, переплетенным на трости. Пальцы чуть подрагивали. Я перевел взгляд и посмотрел на зрачки.

– Ты трезв, – вслух размышлял я; когда я увидел брата, то предположил, что он, тоскуя по любимым пожарам, остекленел от морфина. – Интересно, с чего бы.

– Потому что я капитан, доверенная фигура, а сегодня днем у нас встреча комитета демократов. Интересно, а с чего это тебе захотелось взглянуть на другого окоченевшего птенчика? Проснулся вкус к карликовым ухмылкам?

Под ухмылками, разумеется, он подразумевал черепа.

– Не пори чушь. Лучше расскажи, что там случилось.

Валентайн объяснил. На рассвете некая шлюха по имени Дженни прогуливалась своим обычным бездумным маршрутом в поисках очередного клиента и проходила мимо мусорного бочонка рядом с каким-то ресторанчиком. По-видимому, этот бочонок был неиссякаемым источником еды, а Дженни потратила последнюю монету на утреннюю порцию виски, и потому она сняла крышку, рассчитывая, как часто случалось, отыскать корки устричного пирога или утиные кости. А может, если повезет, недоеденную жареную телятину. Но содержимое бочонка снесло ей крышу, и она заорала. В конце концов, Дженни отыскала патрульного, и тот отнес тело в участок. Неожиданно я с легким удивлением задумался, а что

бы случилось с телом до появления нас, полиции. Но об этом можно только гадать. Мне хотелось думать, что сторож хотя бы тщательно осмотрит тело, наверное, даже вызовет своего начальника, и только потом отправит на кладбище для бедняков.

– Слава богу, он сразу потащил тело в участок, – добавил Вал, когда мы свернули к обочине, и бросил пару монет вознице. – Хреновый хлебушек выйдет – не успели создать полицию, а повсюду уже валяются мертвые дети вперемежку с устричными раковинами. Сюда, он в погребе. Через пару минут должен подойти доктор.

Тихая улица была утыкана зеленью. На фасаде неприметного здания висела очень официальная доска, а у входа стоял полицейский, черный ирландец, с замершим взглядом, от которого у меня по шее пробежали мурашки. Замкнутый, больной взгляд. Когда мы прошли небольшую комнатку, я даже обрадовался, что брат шагает рядом. А потом сказал себе, его выражением: «Хватит быть чертовым молокососом».

Мы спустились по черной лестнице, не беря фонаря – в нижнем помещении горел свет. Комната, в которую мы спустились, больше напоминала сухую пещерку, чем подвал. В углу валяется мешок с яблоками, для голодных ночных дежурных, три большие масляные лампы превращают тени в нечто резкое и черное, как угрозы. Внизу было градусов на десять холоднее, чем снаружи. Здесь пахло деревом, дерном, подземный аромат, приятный еще с тех пор, как я лазал в погреб за картошкой для мамы. Но к нему примешивался другой запах – мерзко-сладостный и ободраный. На столе посреди комнаты лежал предмет, прикрытый серой парусиной.

– Ну, давай, – подзадорил меня Вал. – Хотел увидеть, что это за работенка? Ну так прошу к столу, Тимми.

Если и есть какое-то слово, которое действует на меня, как открытый вызов, то это слово «Тимми». Я подошел и отдернул парусину. Под ней было такое, что поначалу я не смог с собой совладать. Вал прав, для такого у меня недостаточно мужества. Меня накрыла та же тошнотворная, выворачивающая волна, что и тогда, при виде маленького сжатого кулачка Айдана Рафферти. Я смотрел на тело, и тут в моей голове раздался щелчок. Мне все же стоило подробнее расспросить Птичку, узнать у нее смысл фразы «они разрежут его на части». Не знаю почему, но это желание шло из каких-то глубин души.

Однако тут еще какая-то ерунда.

– Маловато крови, а? Учитывая, что с ним случилось.

– Ты прав, – только и ответил он.

Удивился. Вал скрестил на груди могучие руки и подошел ко мне.

Мальчику было около двенадцати. Явно ирландец. Прекрасная чистая кожа и светло-песочные кудри, искаженное лицо, но глаза мирно прикрыты, будто в изнеможении. Правда, он был не просто мертв. Он был именно разделан, как и сказал Вал. Торс парнишки вскрыли чем-то вроде ножовки, в форме креста. На нас пялились обрывки мышц и внутренние органы, наружу торчали куски ребер. Два огромных пересекающихся разреза. Я не знал, как правильно называются все эти разорванные жилы и осколки распиленных костей. Но я точно знал, что на теле бедного птенчика вырезали крест и что вскрытая грудная клетка странно чиста. Залитая кровью ночная рубашка Птички металась перед моими глазами, как флаг, принесенный с войны.

– Кто он?

– Откуда, черт возьми, я-то знаю? – раздраженно бросил Вал, зеленые глаза сверкнули.

– Он есть в списках пропавших? Какой-нибудь ребенок, похожий на него?

– Ты что, башка? Думаешь, мы не проверили это первым делом? Во всяком случае, он стопудовый ирландец. Ты вообще представляешь, как они ищут пропавших детей? Ты еще посоветуй родителям завести дворецкого, присматривать за блохами.

– Когда именно эта Дженни открыла бочонок?

– В четверть седьмого.

– И бочонок был полон крови?

– Если подумать, вроде нет. Я затеял болтовню с владельцем ресторана, поваром и устричным мальчишкой. Там еще есть два официанта, но они еще не подошли. Мы говорили тут, внизу, ну, для чутка атмосферы, – добавил он, неосознанно потирая костяшки руки; жест, к которому я остался равнодушен. – Это их чертова бочка, они должны знать, что в ней. Кто в ней. Ну, в общем, они не знали, и не знали мальчишку. Я убедился, они не знают. Не важно, как.

Я уже собирался сказать Валу, что не спрашиваю и даже предпочитаю не знать, как, но тут сверху послышались шаги. Мы одновременно оглянулись на лестницу. Весьма раздражает.

– Доктор Палсгрейв, – сказал Вал, когда в комнату вошел маленький человечек. – Рад, что вы пришли.

– Ох, Боже милосердный, – воскликнул тот, когда увидел жуткий стол.

Как поразительно часто случалось в Нью-Йорке, особенно среди барменов, я знал его в лицо. Доктор Питер Палсгрейв был последним потомком известной старой семьи, счастливым, которому достались все деньги и дом на Бродвее. Он был известен во всем городе как специалист по детскому здоровью. Именно это делало его таким исключительным – никто не специализируется на здоровье детей. В конце концов, доктор есть доктор, если он не хирург или не смотритель в сумасшедшем доме. У доктора Палсгрейва были живые золотисто-янтарные глаза, аккуратно подстриженные серебристые бакенбарды и удивительно прямая осанка, происходящая от старомодной привычки носить под белоснежным жилетом корсет. На нем была высокая бобровая шапка и отлично сидящий темно-синий сюртук. Все вместе – привлекательная смесь растрепанных нервов и дорогой изысканности.

– Да, доктор, это и не мой конек, хотя Тим, мой брат, все никак не может оторваться.

Удивительно. Бывало, брат представлял меня и похуже.

Доктор Палсгрейв вытер широкий лоб зеленым шелковым платком.

– Прошу прощения, господа, у меня больное сердце, – признался он. – Ревматическая лихорадка, перенесенная в нежном возрасте, что привело ко многим неприятным последствиям. Если бы в нашей стране существовал Hôpital des Enfants Malades^[19] или подобное детское учреждение, возможно, я не был бы так уязвим для испуга. А пока у меня скачет пульс. Сейчас. Насколько я понимаю, вы капитан Уайлд?

– Он самый, – подтвердил мой брат.

– Вы прекрасно осведомлены, что я не коронер. Да? Однако же я получил срочный вызов от лица этой... так называемой полиции. Вот и объясните мне, почему, и немедленно.

– На самом деле, – ответил Вал, растягивая губы в бритвенно-острой улыбке и взмахом руки отбрасывая назад волосы, – сейчас вы как следует посмотрите на черепушку этого мальчишки и расскажете капитану Восьмого округа, приходилось ли вам когда-нибудь его лечить, или я на пару дней запроу вас в Гробницы. Не пытайтесь рычать на меня. И да, благодарю вас за помощь.

Казалось, доктора Палсгрейва сейчас хватит второй сердечный приступ. Потом он утвердился поустойчивее и попытался выглядеть... ну, выше меня, поскольку мы были примерно одного роста, а Вал – намного крупнее. Ничего хорошего у него не вышло. В этот момент я ощутил редкостный всплеск семейной гордости, но раздавил его, как таракана в кладовке. Нельзя отрицать жесткость прямого подхода Вала, но нельзя отбрасывать и его потенциал.

– Это возмутительно! Мне приходилось заниматься тысячами детей, и вы хотите, чтобы я попытался опознать ребенка, которого, возможно, вообще никогда не видел?

– Оно самое, – хладнокровно согласился Вал, пробегая большим пальцем по пуговицам своего жилета. – И вдобавок сообщить нам все, что вам случится заметить, чисто как одолжение «медным звездам».

Я почуял запах денег, явственно металлический. Сейчас была та самая минута, когда – я знал своего брата – Валентайн мог бы предложить взятку. Если только он не решит, что вопрос того не стоит, и не станет напрягаться. Вал не сказал ничего. Он чертовски вжился в роль.

Доктор Палсгрейв пожал плечами и, заложив руки за спину, подошел к столу. Рядом с безжизненным телом лицо доктора быстро смягчилось, будто лицезрение смерти, несмотря на все анатомическое образование, все еще печалило его.

– Его возраст – между одиннадцатью и тринадцатью, – отрывисто сообщил доктор. – Я не вижу явных причин смерти, но это определенно не... двойная рана. Их сделали *post mortem*^[20]. Возможно, какому-то чужестранцу, выросшему на языческих заклинаниях, потребовались внутренние органы, но его прервали. Возможно, мальчик проглотил какую-то ценность, и кто-то стремился ее вернуть. Возможно, кому-то отчаянно требовалось мясо. Так или иначе, он уже был мертв.

Все это было несколько чересчур, особенно упоминание о каннибализме. Я неосознанно взглянул на брата, рассчитывая найти в нем некий якорь реальности, и потрясенно обнаружил, что он смотрит на меня. Я отвернулся и вновь стал следить за доктором.

Сейчас взгляд доктора Палсгрейва был почти нежным, глубоко печальным. Он вытянул руку из-за спины и мягко провел ею по заоченевшей конечности птенчика.

– Бедный малыш. Но я не имею ни малейшего понятия, кто он такой. Несомненно, уличный мальчишка, который рылся в обедках в поисках хлеба насущного и повстречался с фатальным исходом.

– Он не с улицы, – сказал я, едва узнав собственный голос. – У него чистые ногти. Вам следует посмотреть получше.

Вся яркая грудь Вала качнулась, когда он рассмеялся. Вздрагивая, как и всегда во время смеха, поскольку в теме не было ни капли юмора. А я мысленно услышал: «У нас с тобой, Тим, новая профессия... она тебе понравится, как птице – воздух», и подавил желание то ли разозлиться, то ли улыбнуться себе.

– Вы хотите сказать, – зашипел доктор Палсгрейв на моего брата, – что я должен терпеть наглость... этого парня?

– Да, но только пока он бьет вас по части медиканства. Давай дальше, Тим. Откуда он прибыл, этот малыш?

– Из респектабельного дома или из борделя, – очень осторожно сказал я. – Но даже если он просто вымыл руки, цвет лица не подходит для летних улиц. Он слишком бледный.

Доктор Палсгрейв, вы не хотите сказать нам, от чего, по-вашему, он умер?

Краска гнева неохотно сползла с лица доктора, и он вновь склонился над телом. У нас не было никаких инструментов, поэтому он только отстегнул манжеты и принялся ощупывать тело руками; угрюмый Валентайн ободряюще возвышался над ним. Доктор приподнял веки мальчика, ткнул рукой в грудную клетку и, наклонившись, понюхал его губы. В его движениях чувствовалось осязаемое почтение, уважение к тому, что некогда было ребенком. Наконец доктор отвернулся и принялся мыть руки в каменном углублении возле стола.

– Отметины на теле почти исчезли, но судя по ним, около года назад он переболел ветряной оспой. Неспециалисты называют ее птичьей оспой, и она очень заразна. В общем, мальчуган был не очень здоров. Он, как вы и сказали, следил за гигиеной, однако он слишком худ, и, судя по легким, к моменту смерти у него был явный и очень тяжелый случай пневмонии. Я вынужден считать ее причиной смерти, поскольку не вижу на теле никаких следов насилия, исключая эти ужасные раны *post mortem*, но полной уверенности у меня нет.

Он откашлялся. Поколебался.

– Его селезенка... отсутствует, что несомненно примечательно. Однако ее легко могли утащить крысы – внутри вскрытой брюшной полости есть явные следы этих вредителей.

Валентайн, решив наградить нас за хорошее поведение, сам прикрыл парусиной тело безымянного птенчика. В воздухе остался запах мертвой плоти, которая еще не начала гнить. А еще – моя быстро растущая неприязнь к вопросам, на которые не нашлось ответа.

– Так вы стопудово уверены, что до сего дня никогда не лечили этого щенка? Ни в больнице, ни в частном доме? – упорствовал мой брат.

– Я, вместе с коллегами, лечил тысячи детей. Не понимаю, с чего бы мне, доктору медицины, запоминать их лица, – фыркнул доктор Палсгрейв, вытирая руки. – Вам лучше спрашивать тех, кто занимается благотворительностью. Желаю вам хорошего дня.

– С кем из них лучше всего поговорить? – протянул Вал с улыбкой, которая подразумевала неблагоприятное отношение к незавершенным делам.

– С тем, кто хорошо запоминает лица, достоин доверия и, конечно, готов навещать католиков, – отрезал доктор Палсгрейв, пристегивая манжеты. – Аномалия среди людей, занятых благотворительностью. Не удивлюсь, если для этого вам потребуется мисс Мерси Андерхилл. Я часто работаю с бедняками-протестантами вместе с преподобным Томасом Андерхиллом. Но мало кто занят тем, чем мисс Мерси, и ее отец не из их числа. А теперь в последний раз желаю вам всего хорошего.

Его торопливые нервные шаги простучали по лестнице. С моим ртом было что-то не так. Он был сух, как кость. Начни я говорить, и он расколется на куски.

– Ну, разве это не капелька удачи? – спросил Валентайн, хлопнув меня по спине. – Ты отыщешь Мерси Андерхилл даже в темноте, слепым и со связанными руками, так что давай...

– Нет, – четко произнес я. – Нет. Я только хотел помочь тебе, помочь с телом. И всё.

– Какого дьявола ты захотел мне помочь? И если уж захотел по каким-то кривым причинам, с чего теперь останавливаться?

– Я не хочу, чтобы Мерси на это смотрела. Ни за что.

– И даже ради самого мертвого птенчика?

Когда я в ярости открыл рот, Вал поднял широкую и, надо признать, авторитетную руку.

– Ты увидел придушенного ирландского крохотулю и струсил. Поэтому пошел со мной

узнать, хватит ли у тебя смелости на второй раз. Тим, я неплохо кумекаю, и ты меня оставишь. Слушай, я собираюсь позаботиться о теле и натянуть на него тряпки, так что ей придется размышлять только над его именем. Я даже сперва отправлю его в церковь Святого Патрика, она всего в шести кварталах по Принс, и посмотрю, не признают ли его они. Может, священник знает, откуда мальчишка родом.

– Но меня даже не отправили на...

– Сегодня утром Мэтселл собирался тебя выставить, и плевать на младенца, поэтому я заявил, что ты нужен мне, уладить эту ерунду в Восьмом. И отлично. Я упомяну, что ты сказал о ногтях. Здорово подмечено. Я так понимаю, опыт бармена?

– Но я не знаю, как...

– Тим, а кто знает? Все мои люди опрашивают соседей на своих маршрутах, и я сброшу тебе свежие новости, когда ты отчитаешься вечером. После десяти я буду в «Крови свободы». Взведешь со мной органчик.

– Пожалуйста, пусть это означает просто выкурить трубку.

– А какую, к дьяволу, хрень это еще может значить?

– Я не могу просто пойти и оторвать Мерси от...

– Тут у нас убийство. Ничего, она боевая, и мозгов хватает, так что справится. Давай, Тим, и удачи тебе.

– Дело не только в убийстве! – в отчаянии воскликнул я, потирая лоб.

Валентайн был уже на середине лестницы.

– А, – приостановившись, сказал он.

Я приготовился к насмешкам. Но он только понимающе ухмыльнулся и выщелкнул в мою сторону монету.

– Вроде шиллинг. Купи себе какую-нибудь маску в пару к шляпе. Что-нибудь патриотично-красное, хулиганское и таинственное.

Стиснув монету, я возразил:

– Маска никогда не решит...

– Тимоти, дай отдых своей красной тряпке во рту. Я ничего не говорил про решение. Ты не поверишь, сколько всего я не могу решить.

Он просто истекал сарказмом. Потом быстро, как волк, ухмыльнулся мне, сверкнув зубами.

– Но она поможет, а? Она поможет. Давай, займись. А потом найди Мерси Андерхилл и выясни, кто же распилил ирландского парнишку навроде лобстера. Скажу честно, я и сам здорово хочу это знать.

Ежегодные отчеты городского инспектора свидетельствуют, что почти половина смертей от истощения приходится на иностранную часть населения и что более трети всех смертных случаев составляют иностранцы. Такую огромную диспропорцию можно объяснить только предположением, что смертность среди чужаков, приехавших поселиться здесь, во многих случаях вызвана некими экстраординарными причинами

*Санитарное состояние трудящегося населения Нью-Йорка,
январь 1845 года*

Красные маски – для бандитов в спектаклях Бауэри и, возможно, артистов итальянской пантомимы. Хотя мой брат-прохиндей вряд ли их различает. Однако сама идея звучала невыносимо привлекательно. Поэтому я купил ленту мягкого темно-серого хлопка и обвязал ею наискось голову, подложив снизу тонкую промасленную тряпицу, чтобы глаз остался открытым. Затем направился в церковь на Пайн-стрит.

Пока я торопливо шел по Пайн, мимо таких знакомых трехэтажных домов стряпчих и витрин, полных современными масляными лампами и тепличными цветами, я думал, почему же я не поспешил к Птичке, чтобы расспросить ее о мальчике с крестом в груди. Пока я размышлял, мне в голову пришли две причины. Во-первых, Птичка сказала «они разрежут его на части», и мне очень не хотелось говорить ей, что она не ошиблась. Конечно, если счесть куриную кровь еще одной выдумкой. Но важнее, думал я, что никому вне моего дома пока не нужно знать о Птичке. Ведь так? О симпатичной юной лгунье, которая пришла залитая кровью и, возможно, видела слишком много. Я помогу Птичке, а потом посмотрю, как она пойдет своей дорогой.

Я не заходил к югу от Сити-Холл-парка с тех пор, как здоровенный кусок города выгорел дотла. Чем ближе я подходил, тем медленнее шел. Ноздри забивал дым, которого не было, в мусорных кучах мигали угли. Нетерпеливые молотки стучали, как пульс города. Чем дальше, тем больше было зданий – поначалу нетронутых, облепленных торговыми, медицинскими и политическими объявлениями – с явными следами огня. Кое-где, на месте деревянных домов, виднелись пустые провалы. Отсюда и шел стук: ирландцы, сотни и сотни ирландцев в пропотевших рубашках держали в зубах гвозди, а местные жители пялились на них, пили из фляжек и выкрикивали насмешки.

– Я всю жизнь занимаюсь распиловкой, учился еще у отца, и вы станете называть это хорошей работой? – крикнул румяный бородатый мужчина, когда я подошел к Уильям-стрит. – Даже ниггер не станет так ковыряться, да еще и справится с работой получше вас!

Парень-ирландец стиснул зубы и очень разумно промолчал, предпочитая заниматься делом, а не устраивать уличную потасовку. Но побагровел, когда мужчина, продолжая выкрикивать эпитеты, перешел к его матери. Я прошел мимо эмигранта и, заглянув ему в глаза, увидел хорошо знакомый мне тусклый, беспомощный взгляд. Я видел, как такое сносили оборванные аиды в поношенных шапках, цветные, которых буквально вышвыривали из магазинов, забавные квакеры-фермеры, индейцы-ремесленники, по чьим черным косам

тек дождь, пока они стоически сидели перед лотками с бисером и резной костью. В здешних местах всегда находили, кого унижить, кому приходилось сносить такое отношение. Я и сам не был исключением. Ощущение не из приятных.

Когда я вышел на улицу Мерси, то увидел разруху. Больше тут не на что было смотреть. По крайней мере, человеку, который здесь вырос, который знал Нью-Йорк до того, как его забрал пожар. Я смотрел в прекрасный улей головокружительных человеческих выдумок. В зданиях неким образом прорывались десятки полуоформленных мыслей. Свежеобтесанные камни среди обломков, цветные, обливающие водой мужчин, которые едва не падают от теплового удара, почерневшие корни деревьев с сожженными ветвями, а рядом – цветочные ящики, доставленные из Бруклина или Гарлема.

[Купить полную версию книги](#)

| |
|--------------|
| notes |
|--------------|

Выдержки из книги Джорджа Вашингтона Мэтселла «Тайный язык преступников: Vocabulum, или Бандитский лексикон». (G. W. Matsell & Co., 1859).

Гробницы – прозвище здания в Манхэттене (построено в 1838), в 1845 г. включавшего суд, полицию и тюрьму. Здание получило прозвище из-за сходства с египетскими мавзолеями, которыми вдохновлялся архитектор.

Примерно 35 градусов по Цельсию.

Мерси (*англ.* Mercy) – милосердие.

«Быки» и «медведи» – прозвище биржевых брокеров, работающих, соответственно, на повышение и понижение ставок.

Театр на Бродвее, открыт в 1823 году.

Речь идет о финансовом кризисе 1837 г. и последовавшей за ней депрессии.

Дайм – просторечное название монеты в 10 центов.

Джеймс Харпер – мэр Нью-Йорка, избранный в 1844 г. Он реформировал городскую полицию, но не получил поддержки в городском совете и смог обмундировать всего двести человек.

Андерхилл (*англ.* Underhill) – букв. «под холмом».

Лауданум – спиртовая опийная настойка.

Партия вигов – политическая партия Соединенных Штатов (1832–1856). Возникла как оппозиция демократии Эндрю Джексона и Демократической партии на основе коалиции Национальной республиканской партии, антимасонской партии и других более мелких партий антиджексоновцев. В частности, виги поддерживали главенство Конгресса над исполнительной властью и продвигали программу модернизации и экономического протекционизма.

Нативизм (*полит.*) – идеология превосходства и главенства т.н. коренных элементов нации или народности над пришлыми (иммигрантами и пр.). В практическом смысле означает сопротивление иммиграции.

Черными в Америке называли черноволосых ирландцев.

Примерно 135 кг.

Готэм – одно из прозвищ Нью-Йорка.

Аболиционизм – движение за отмену рабства и освобождение рабов.

Район в центральной части Манхэттена, печально известный высоким уровнем преступности.

Детская больница (фр.).

Посмертно (*лат.*).